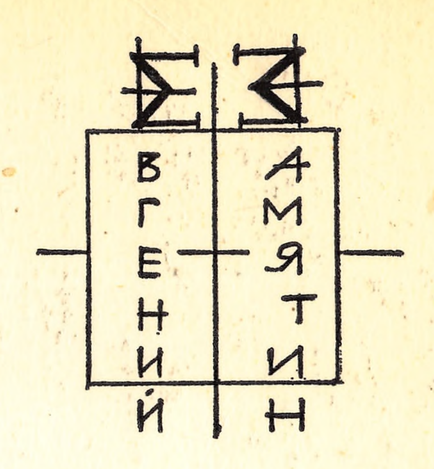


Мы

Евгений Замятин

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН



МЫ

Роман

Inter-Language Literary Associates
1967

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

МЫ

Вступительная статья Евгении Жиглевич
Статья-послесловие Владимира Бондаренко

Международное Литературное Содружество
1967

Портрет Е. И. Замятина работы

ЮРИЯ АННЕНКОВА

Рисунок обложки работы

ЕВГЕНИИ ЖИГЛЕВИЧ

Printed in Germany

Вступление

«МЫ» и МЫ

— Мир жив только еретиками —
Е. Замятин. «Завтра»

Мы изголодались по существенному: без лишних слов, о самом главном.

Повествования не о нас самих, а о кружевах нашей тетки, отправлявшейся на свидание на исходе прошлого столетия, нам наскучили.

Мы ждем слова, — прямого, меткого, — прямо в цель. О живом, о настоящем, о животрепещущем. Пусть это ранит, — о подлинном всегда ранит, — и ранить будет сильно, потому что беда наша — большая. Нас уже не интересует, роман это Ивана или Петра, нас интересует, как сохранить в Иване и Петре возможность, желание иметь роман — возможность сохранить человеческие чувства, выйти человеком из нечеловеческой среды. Речь идет не об индивидуальном более, — о человеке вообще. Об общечеловеческом. Чтоб его сохранить, — последнее. Это наболело. Об этом, пока не поздно, надо говорить. Не о воланах минувших дней, а о нашей ране. И говорить не манерой тех дней — речисто и с фиоритурой —, а оголенно-правдиво. Не можем мы больше говорить лишних слов — не в тарантасе катим, — в ракете. И некогда их говорить: кому мало жить осталось, болтать не может. И поболтать не вред — там, за чаем, на закате, в девятнадцатом веке. Но у нас — не закат, — космическая ночь, и разговор другой.

Замятин — зоркий, прищуренный взгляд; Замятин — не знающий сгиба хребет; Замятин — недрогнувший голос о важном, существенном. А в «Мы» — о самом важном, самом существенном.

В большей ли, — меньшей — степени мы уже живем в стеклянных домах, выходим толпой на работу в назначенный час, в назначенный час возвращаемся (стрелка часов — расписание — висит над нами двойным мечом), всё раньше отрываем детей от себя для подготовки их к «обществу» (скоро и отрывать не придется — будут производить и выращивать без нашего ведома). И общедоступное высшее образование у нас имеется, но в нем мы потеряли наш образ, потому что в университетах мы стали (нас так много!) просто номерами. Неровен час (хотя жизнь наша и теперь уже запружена фактами и верою в них), — и фантазию вырежут, — тогда будем улыбаться бессмысленной улыбкой всем и каждому (и — никому) от довольства собою и окружающим.

Вырезать фантазию = вырезать стремления, неудовлетворенность и мечту. Было время, когда неудовлетворенность восстала в нас против подавления масс и против пренебрежения сознанием. Но она же восстает теперь против подавления личности во имя масс и против власти сознания. Ответов нет. Есть только вопросы. Ответ — в непрерывности вопросов. Жизнь (и чистота) есть движение, вдох и выдох (выдох был тоже когда-то свежезачерпнутой новой струей). Задержать дыхание надолго — значит перестать жить. Отработанное, застой, омертвевший устой подлежит выдоху, уступающему место живительной свежести. Все меняется. Единственно в этом жизнь. Восторжествуй тысячекратно прекрасное, но если это завершение, — конец жизни. Счастье — в свободе устремления, — не в достижении счастья.

Стремление сохранить человека в человеке, борьба против механизации, рационализации, квантитативности, конформизма и регламента явственнее всего отразилась сейчас в исканиях современной кинематографии, искусстве, Замятину чрезвычайно близком. Возможно, потому, что жест, движение, образ рождаются прежде слова (которое еще не отразило метаний нашего

времени), или, может быть, потому, что мы отходим от слова, как наиболее сознательного из всех проявлений человеческого творчества. Уход к забытым мирам, пульсирующим тайным своим биением под гладкой оболочкой сознания, все больше заметен у тех, кто отталкивается от перепевов. Фабула, — прежние вёрсты, — умирает. И мы, наверное, наблюдали, что в человеке, в «герое», нас занимает не типическое, не характерное, не индивидуальное, а жадно ловим мы в нем черты, *всем* нам присущие, черты *человека*, которые приходится постепенно терять. А героями нашими стали не те, что сознательно совершают те или иные «нечеловеческие» подвиги, а те, что прежде были бы заклеймлены как — бесхарактерные, — люди, которым ничто человеческое не чуждо.

Мы — на краю. И крик наш — как сохранить человеческое, как оградить личность, и уберечь и оживить это для всех, не для одного себя — для *всех*. Человека человечеству сохранить.

Мы устали от сознания. И после стеклянных стен нам любо окунуть свой «цивилизованный» взор в желтые глаза зверя... — Что сделать, чтобы не заросла дорога в Древний Дом, чтобы не закрылись навеки певучие его двери? — —

Перед нами «Мы» Евгения Замятина. Тут он весь, во всю стать. А с ним — и все мы, все человечество — сегодня, сейчас, в данное мгновение.

Евгения Жиглевич



Евгений Замятин

МЫ

Запись 1-ая.
Конспект:

ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА.

Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад, ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически-безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия — мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения, о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это — и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по каса-

тельной — ассимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель Интеграла, — я только один из математиков Единого Государства. Мое, привычное к цифрам, перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет — верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового — еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно — не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, — или почти каждый из нас. Я готов.

Запись 2-ая.
Конспект:

БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС.

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно проводишь по ним языком — и, должно быть,

сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, неиспорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо-толкущиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим — только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни — весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения — видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится И н т е г р а л — и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше — сам с собою: почему — красиво? Почему танец — красив? Ответ: потому что это н е с в о б о д н о е движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни — только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! — мне всегда это казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое О — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястьи руки — такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще во всю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

— Чудесно. Не правда ли? — спросил я.

— Да, чудесно. Весна, — розово улыбнулась мне О-90.

Ну, вот, не угодно ли: весна... Она — о весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час — мы, обычно, тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, музыкальный завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах*), с золотыми бляхами на груди— государственный нумер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, — он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа — два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, неомраченные безумием мыслей лица... Лучи — понимаете: всё из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце

*) Вероятно, от древнего "Uniforme".

медные ступени и с каждой ступенью — вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни — увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение — прыжок через века, с + на —. Мне вспомнилась (очевидно, — ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

— Простите, — сказала она, — но вы так вдохновенно все озирали — как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это — без улыбки, я бы даже сказал — с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я — строитель Интеграла). Но не знаю — в глазах или бровях — какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно,

что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

— Но почему же — непроходимая? (Какие белые зубы!). Через пропасть — можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги — ведь это тоже было — и, следовательно...

— Ну, да: ясно! — крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она — почти моими же словами — то, что я записывал перед прогулкой). — Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови — как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево — и...

Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево — О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки — неизвестный мне мужской нумер — какой-то дважды изогнутый, вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, повидимому, мой растерянный взгляд — и со вздохом:

— Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе... Я — с необычайной для меня резкостью — сказал:

— Ничего не увы. Наука растет, и ясно — если не сейчас, так через пятьдесят; сто лет...

— Даже носы у всех...

— Да, носы, — я уже почти кричал. — Раз есть — все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

— Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и — по возможности посторонним голосом — сказал:

— Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

— Да это прелюбопытный аккорд, — она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

— Он записан на меня, — радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала — это было совершенно ни к чему. Вообще, эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно расчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем, S-образным мужским нумером. У него такое — внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его — сейчас не вспомню.

На прощание I — все также иксово — усмехнулась мне.

— Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

— Если у меня будет наряд — именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

— Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение нераз-

ложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне — налево.

— Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... — робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну, что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день — послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» — как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен: три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

Запись 3-я.
Конспект:

ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ.

Просмотрел все написанное вчера — и вижу: я писал недостаточно ясно. То-есть, все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому И н т е г р а л принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно — и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно, как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А

впрочем, если его роман переведен для дикарей — разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну, к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь в точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм к все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) — есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой — первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того, как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить, что у вас — хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице — голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас, со стены у меня в комнате, сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные

на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о, Скрижаль, о, сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а, может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод, — но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль — каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту, — мы, миллионы, встаем, как один. В один и тот же час, единомиллионно, начинаем работу — единомиллионно кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, — мы подносим ложки ко рту, — и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне откровенен: абсолютно-точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью — Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних — целомудренно спущены шторы, другие мерно, по медным ступеням Марша — проходят проспектом, третьи — как я сейчас — за письменным столом. Но я твердо верю — пусть назовут меня идеалистом и фантазером — я верю: раньше или позже — но когда-нибудь и для этих часов мы

найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т. е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя — пусть даже зачаточная государственная власть, могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством — только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить на смерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, т. е. уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, — это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет — это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуту решит любой десятилетний нумер; у них не могли — все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это — разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас

есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т. е. зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время — откуда-то со дна, из мохнатых глубин, — еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью — только изредка. К счастью — это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт — у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S, — кажется, мне случалось видать его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22½. До завтра.

Запись 4-ая.
Конспект:

ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ. ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ.

До сих пор мне все в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня... Не понимаю.

Первое: я, действительно, получил наряд быть именно в аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была — $\frac{1.500}{10.000.000} = \frac{3}{20.000}$ (1500 — это число аудиториумов, 10.000.000 — нумеров). А второе... Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнеченный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп — милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похожие... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне — желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот — звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства — и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолектор.

— «Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу 20-го века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на «дожде» — действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на «дождь» (на экране — дикарь в перьях, выколупывающий ртуть:

смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Также, как и дикарь, европеец хотел «дождя», — дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря, по крайней мере, было больше смелости и энергии и — пусть дикой — логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому...»

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) — тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось — все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолектор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик — причина, музыка — следствие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.

— «...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков «вдохновения» — неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, — музыка Скрябина — 20-й век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там — их древнейший инструмент) — этот ящик они называли «рояльным» или «королевским», что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка...»

И дальше — я опять не помню, очень возможно, потому, что... Ну, да, скажу прямо: потому что к «рояльному» ящику подошла она — I-330. Вероятно, я

был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы...

Улыбка — укус, сюда — вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, — ни тени разумной механичности. И, конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я — я?

Да, эпилепсия — душевная болезнь — боль... Медленная, сладкая боль — укус — и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно — солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи — нет: дикое, несущееся, попаляющее солнце — долой все с себя — все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево — на меня — и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел — на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я — снова я.

Как и все — я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху — вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце — для контраста). Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов — и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратно-грузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-ко-

лебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты — спектральный анализ планет... Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем — кроме диких фантазий — не ограниченная музыка древних...

Как обычно, стройными рядами, по четыре, через широкие двери все выходили из аудиториума. Мимо мелькнула знакомая двояко-изогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома — скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас — только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен — мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе, мало ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic!) дом — моя крепость» — ведь нужно же было додуматься!

В 22 я опустил шторы — и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик — и розовый билетик. Я оторвал талон — и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента — 22.15.

Потом показал ей свои «записи» и говорил — кажется, очень хорошо — о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала — и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья, — прямо на раскрытую страницу (стр. 7-я). Чернила расплылись. Ну, вот придется переписывать.

— Милый Дэ, если бы только вы — если бы...

Ну, что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое — относительно... относительно той? Хотя уж тут, как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.

Запись 5-ая.
Конспект.

КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА. ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ.

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый, — ну да все его знают. А между тем вы — на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии — кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе — квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете — квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит — настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это — равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром». Ergo: чтобы овладеть миром — человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне — о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков, дикие христиане упрямо держались за свой

«хлеб» *). Но в 35-ом году до основания Единого Государства — была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато — очищенное от тысячелетней грязи — каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых — вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть — это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался, потому что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний разговор на прогулке) — потому что любви одних добивались многие, других — никто.

Естественно, что подчинив себе Голод (алгебраический = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира — против Любви. Наконец, и эта стихия была тоже побеждена, т. е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»: «всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой нумер».

Ну, дальше — там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови — и вырабатывают для вас соответственный Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться нумером таким-то (или такими-то) и получаете надлежащую талонную книжку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти — нет уже никаких,

---

*) Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества — нам неизвестен.

знаменатель дроби счастья приведен к нулю — дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий — у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма, так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

... Странно: я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, — а внутри как-то облачно, паутинно, и крестом какой-то четырехлапый икс. Или это — мои лапы, и все от того, что они были долго у меня перед глазами — мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них — и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно — —

Хотел зачеркнуть все это — потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи — как тончайший сейсмограф — дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником — —

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии — никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри — все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) — просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю — вы не будете слишком строго судить меня. Я верю — вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современ-

ников, другие — для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

Запись 6-ая.
Конспект:

СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ «ЯСНО». 24 ЧАСА.

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала — еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) — там, где уже ничего не случается, а у нас... Вот, не угодно ли: в Государственной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из нумеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И кроме того — нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, т. е. в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же...

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг — телефон:

— Д-503? — женский голос.

— Да.

— Свободны?

— Да.

— Это я, I-330. Я сейчас залечу за вами и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

I-330... Эта I меня раздражает, отталкивает — почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неба — и легкое солнце — на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое — как щеки старинного «купидона» — и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы — поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна — там, за Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца — вниз, вниз, вниз — как с крутой горы — и мы у Древнего Дома.

Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери — старуха, вся сморщенная — и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос — и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все-же — заговорила.

— Ну, что, милые, домик мой пришли поглядеть? — и морщины засияли (т. е., вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли»).

— Да, бабушка, опять захотелось, — сказала ей I.

Морщинки сияли:

— Солнце-то, а? Ну, что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Зна-ю, знаю! Ну, ладно: одни идите, я уж лучше тут, на солнце...

Гм... Вероятно, моя спутница — тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть — мешает: вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой синей майолике.

Когда поднимались по широкой, темной лестнице, I сказала:

— Люблю я ее — старуху эту.

— За что?

— А не знаю. Может быть — за ее рот. А может быть — ни за что. Просто так.

Я пожал плечами. Она продолжала — улыбаясь чуть-чуть, а, может быть, даже совсем не улыбаясь:

— Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не «просто-так-любовь», а «потому-что-любовь». Все стихии должны быть...

— Ясно... — начал я — тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на I: заметила или нет?

Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены — как шторы.

Вспомнилось: вечером, около 22-х, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных, прозрачных клеток — темные с опущенными шторами, и там, за шторами — — Что у ней там, за шторами? Зачем она сегодня позвонила, и зачем все это?

Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь — и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). Тот, самый странный, «королевский» музыкальный инструмент — и дикая, неорганизованная, сумасшедшая — как тогдашняя музыка — пестрота красок и форм. Белая плоскость — вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза — канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения — линии мебели.

Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, повидимому, более крепкий организм.

— Это — самая моя любимая... — и вдруг будто спохватилась — укус-улыбка, белые острые зубы. — Точнее: самая нелепая из всех их «квартир».

— Или, еще точнее: государств, — поправил я. — Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как...

— Ну, да, ясно... — повидимому, очень серьезно сказала I.

Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху были тоже частной собственностью). И снова — комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный «камин», большая, красного дерева кровать. Наше теперешнее — прекрасное, прозрачное, вечное — стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков-окон.

— И подумать: здесь «просто-так любили», горели, мучились... (опять опущенная штора глаз). — Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, — неправда-ли?

Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но в улыбке у ней был все время этот раздражающий икс. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое — не знаю что, — что выводило меня из терпения; мне хотелось спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходилось соглашаться — не согласиться было нельзя.

Вот — остановились перед зеркалом. В этот момент — я видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые «квартиры» — человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза. Она как-будто угадала — обернулась. «Ну — вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно, молча).

Передо мною — два жутко-темные окна, и внутри такая неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь — пылает там какой-то свой «камин» — и какие-то фигуры, похожие...

Это, конечно, было естественно: я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и непохоже на меня (очевидно, это было удручающее действие обстановки) — я определенно почувствовал страх, почувст-

вовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни.

— Знаете что, — сказала I, — выйдите на минуту в соседнюю комнату. — Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон глаз, где пылал камин.

Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая ассиметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина). Отчего я сижу вот — и покорно выношу эту улыбку, и зачем все это: зачем я здесь — отчего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра...

Там — стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда и — — точно не помню: вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.

Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка — мне было ясно видно: чулки очень длинные, гораздо выше колен, — и открытая шея, тень между...

— Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы...

— Ясно, — перебила I, — быть оригинальным — это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным — это нарушить равенство... И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным» — у нас значит: только исполнять свой долг. Потому что...

— Да, да, да! Именно, — я не выдержал. — И вам нечего, нечего...

Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь глаз — там, внутри, за своими окнами, — сказала, на этот раз, кажется, совершен-

но серьезно (может быть, чтобы смягчить меня) — сказала очень разумную вещь:

— Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели — поклонялись им. Какой рабский дух! Неправда-ли?

— Ясно... То есть, я хотел... (это проклятое «ясно»!).

— Ну, да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас...

— Да, у нас... — начал я. И вдруг она — рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.

Помню — я весь дрожал. Вот — ее схватить — и уж не помню что... Надо было что-нибудь — все равно что — сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без десяти 17.

— Вы не находите, что уже пора? — сколько мог, вежливо сказал я.

— А если бы я вас попросила — остаться здесь со мной?

— Послушайте: вы... вы сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудиториуме...

— ... И все нумера обязаны пройти установленный курс искусства и наук... — моим голосом сказала I. Потом отдернула штору — подняла глаза: сквозь темные окна — пылал камин. — В Медицинском Бюро у меня есть один врач — он записан на меня. И если я попрошу — он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну?

Я понял. Я, наконец, понял, куда вела вся эта игра.

— Вот даже как! А вы знаете, что как всякий честный нумер, я, в сущности, должен немедленно отправиться в Бюро Хранителей и...

— А не в сущности, — (острая улыбка-укус). — Мне страшно любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?

— Вы остаетесь? — я взялся за ручку двери. Ручка была медная — и я слышал: такой же медный у меня голос.

— Одну минутку... Можно?

Она подошла к телефону. Назвала какой-то нумер — я был настолько взволнован, что не запомнил его — и крикнула:

— Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна...

Я повернул медную холодную ручку:

— Вы позволите мне взять аэро?

— О, да, конечно! Пожалуйста...

Там, на солнце, у выхода — как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший на глухо рот и что она заговорила.

— А эта ваша — что же, там одна осталась?

— Одна.

Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. Повидимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины.

Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не одна. Может быть, именно это — что я невольно обманул старуху — так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна: вот в чем дело.

После 21½ — у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заявление. Но я после этой глупой истории так устал. И потом — законный срок для заявления двое суток. Успею завтра: еще целых 24 часа.

Запись 7-ая.
Конспект:

РЕСНИЧНЫЙ ВОЛОСОК. ТЭЙЛОР. БЕЛЕНА И ЛАНДЫШ.

Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом — медный Будда; вдруг поднял медные веки — и полился сок: из Будды. И из желтого платья — сок, и по зеркалу капли сока, и сочится большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам — и какой-то смертельно сладостный ужас...

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда... что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят у древних — это было самое обыкновенное и нормальное — видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была — вот такая ужасная карусель: зеленое — оранжевое — Будда — сок. Но мы то знаем, что сны — это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически-выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь... Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу — какое-то инородное тело — как тончайший ресничный волосок в глазу: всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском — нельзя о нем забыть ни на секунду...

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовии: 7, вставать. Справа и слева, сквозь стеклянные стены — я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.

Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки — он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24-х. Но все же: как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте — и едва замечать Тэйлора — этого пророка, сумевшого заглянуть на десять веков вперед.

Кончен завтрак. Стройно пропет гимн Единого Государства. Стройно, по четыре — к лифтам. Чуть слышное жужжание моторов — и быстро вниз, вниз, вниз — легкое замирание сердца...

И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон — или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера также на аэро — спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка. И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.

В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижное, еще не одухотворенное огнем, изящное тело «И н т е г р а л а». Закрывши глаза, я мечтал формулами: я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать «И н т е г р а л» от земли. Каждый атом секунды — масса «И н т е г р а л а» меняется (расходуется взрывное топливо). Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами.

Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире — кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал — «простите».

Я приоткрыл глаза — и сперва (ассоциация от «И н т е г р а л а») что-то стремительно несущееся в пространство: голова — и она несется, потому что по бокам — оттопыренные розовые крылья-уши. И

затем кривая нависшего затылка — сутулая спина — двояко-изогнутое — буква S...

И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира — снова ресничный волосок — что-то неприятное, что я должен сегодня — —

— Ничего, ничего, пожалуйста, — я улыбнулся соседу, раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711 (понятно, почему он с самого первого момента был связан для меня с буквой S: это было незарегистрированное сознанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза — два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому...

Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен: — один из них, из Хранителей, и проще всего, не откладывая, сейчас же сказать ему все.

— Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме... — голос у меня — странный, приплюснутый, плоский — я пробовал откашляться.

— Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.

— Но, понимаете — был не один, я сопровождал нумер I-330, и вот...

— I-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.

...Но ведь и он — тогда на прогулке — и может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом — нельзя, немыслимо: это ясно.

— Да, да! Как же, как же! Очень, — я улыбался — все шире, нелепей — и чувствовал: от этой улыбки — я голый, глупый...

Буравчики достали во мне до дна, потом быстро вращаясь — взвинтились обратно в глаза; S — двояко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу.

Я закрылся газетой (мне казалось — все на меня

смотрят) — и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка: «По достоверным сведениям — вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства».

«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: «преступные». Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой как... ну как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений — это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в космическом масштабе века — это, конечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки...

Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 — иду туда непременно...

В 16.10 вышел — и тотчас же на углу увидал О — всю в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня»... Впрочем, нет: в поддержке я не нуждался: я решил твердо.

Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода — все тот же ежедневный Марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности!

О схватила меня за руку.

— Гулять, — круглые синие глаза мне широко раскрыты — синие окна внутрь — и я проникаю внутрь ни за что не зацепляясь: ничего — внутри, т. е. ничего постороннего, ненужного.

— Нет, не гулять. Мне надо... — я сказал ей, ку-

да. И к изумлению своему увидел: розовый круг рта — сложился в розовый полумесяц, рожками книзу — как от кислого. Меня взорвало.

— Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня — но это просто тупость.

— Вы — идете к шпионам... фу! А я было, достала для вас в Ботаническом Музее веточку ландышей...

— Почему «А я» — почему это «А»? Совершенно по женски. — Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши. — Ну вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да?. Так имейте же логики хоть настолько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо? Не мо-же-те, ну? Есть запах ландыша — и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве — и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион — это белена, тут шпион — ландыш. Да, ландыш, да!

Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это мне только показалось — но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче:

— Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного.

Круглые, гладкие шары голов плыли мимо — и оборачивались. О ласково взяла меня за руку:

— Вы какой-то сегодня... Вы не больны?

Сон — желтое — Будда... Мне тотчас стало ясно: я должен пойти в Медицинское Бюро.

— Да, ведь и правда: я болен, — сказал я очень радостно (тут совершенно необъяснимое противоречие: радоваться было нечему).

— Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы

же понимаете: вы обязаны быть здоровым — смешно доказывать вам это.

— Ну, О милая, — ну, конечно же вы правы. Абсолютно правы!

Я не пошел в Бюро Хранителей: делать нечего, пришлось идти в Медицинское Бюро; там меня задержали до 17.

А вечером (впрочем, все равно — вечером там уже было закрыто) — вечером пришла ко мне О. Шторы не были спущены. Мы решали задачи из старинного задачника: это очень успокаивает и очищает мысли. О-90 сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно, просто...

Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул (это очень полезно перед сном). И вдруг какой-то непредусмотренный запах — и о чем-то таком очень неприятном... Скоро я нашел: у меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны — подкинуть мне эти ландыши. Ну да: я не пошел, да. Но ведь не виноват же я, что болен.

Запись 8-ая.
Конспект:

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ. R-13. ТРЕУГОЛЬНИК.

Это — как давно, в школьные годы, когда со мной случился $\sqrt{-1}$. Так ясно, вырезанно, помню: светлый шаро-зал, сотни мальчишеских круглых голов — и Пляпа, наш математик. Мы прозвали его Пляпой: он был уже изрядно подержанный, разбол-

танный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала: «Пляпля-пля-тшшш», а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах — и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: «Не хочу $\sqrt{-1}$! Выньте из меня $\sqrt{-1}$!» Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня — его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.

И вот теперь снова $\sqrt{-1}$. Я пересмотрел свои записи — и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе — только чтобы не увидеть $\sqrt{-1}$. Это все пустяки — что болен и прочее: я мог пойти туда; неделю назад — я знаю, пошел бы, не задумываясь. Почему же теперь... Почему?

Вот и сегодня. Ровно в 16.10 — я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной — золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампады в древней церкви — теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей — себя. А я — я рвался к ним, с ними. И не могу: ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты — я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места...

— Эй, математик, замечтался!

Я вздрогнул. На меня — черные, лакированные смехом глаза, толстые, негрские губы. Поэт R-13, старый приятель — и с ним розовая О.

Я обернулся сердито (думаю, если бы они не помешали, я бы, в конце концов, с мясом вырвал из себя $\sqrt{-1}$, я бы вошел в Бюро).

— Не замечтался, а уж если угодно — залюбовался, — довольно резко сказал я.

— Ну да, ну да! Вам бы, милейший, не матема-

тиком быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам — в Поэты, а? Ну, хотите — мигом устрою, а?

R-13 говорит захлебываясь, слова из него так и хлещут, из толстых губ — брызги; каждое «п» — фонтан, «поэты» — фонтан.

— Я служил и буду служить знанию, — нахмурился я: шуток я не люблю и не понимаю, а у R-13 есть дурная привычка шутить.

— Ну что там: знание! Знание ваше это самое — трусость. Да уж чего там: верно. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть. Да! Выгляните — и глаза зажмурите. Да!

— Стены — это основа всякого человеческого... — начал я.

R — брызнул фонтаном, О — розово, кругло смеялась. Я махнул рукой: смейтесь, все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот проклятый $\sqrt{-1}$.

— Знаете что, — предложил я, — пойдемте, посидим у меня, порешаем задачки (вспомнился вчерашний тихий час — может быть, такой будет и сегодня).

О взглянула на R: ясно, кругло взглянула на меня, щеки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом наших талонов.

— Но сегодня я... У меня сегодня — талон к нему, — кивнула на R, — а вечером он занят... Так что...

Мокрые, лакированные губы добродушно шлепнули:

— Ну чего там: нам с нею и полчаса хватит. Так ведь, О? До задачек ваших — я не охотник, а просто — пойдем ко мне, посидим.

Мне было жутко остаться с самим собой — или вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной случайности был мой нумер — Д-503. И я пошел к нему, к R. Правда, он не точен, не рит-

мичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика, но все же мы — приятели. Не даром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую, розовую О. Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы.

Дальше — в комнате R. Как будто — все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел R — двинул одно кресло, другое, — плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неэвклидным. R — все тот же, все тот же. По Тэйлору и математике — он всегда шел в хвосте.

Вспомнили старую Пляпу: как мы, мальчишки, бывало все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками (мы очень любили Пляпу). Вспомнили Законоучителя*). Законоучитель у нас был громогласен необычайно — так и дуло ветром из громкоговорителя — а мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный R-13 напихал ему однажды в рупор жеванной бумаги: что ни текст — то выстрел жеванной бумагой. R, конечно, был наказан, то, что он сделал — было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали — весь наш треугольник — и, сознаюсь, я тоже.

— А что если бы он был живой — как у древних, а? Вот бы, — «б» — фонтан из толстых, шлепающих губ...

Солнце — сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное — снизу. О — на коленях у R-13, и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел; $\sqrt{-1}$ заглох, не шевелился...

— Ну, а как же ваш «И н т е г р а л»? Планетных то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гони-

*) Разумеется, речь идет не о «Законе Божьем» древних, а о законе Единого Государства.

те, гоните! А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему «И н т е г р а л у» не поднять. Каждый день от 8 до 11... — R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него — это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик (вспомнилась старинная картина — «В карете»).

Я оживился:

— А, вы тоже пишете для «И н т е г р а л а»? Ну, а скажите о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня.

— Сегодня — ни о чем. Другим занят был... — «б» брызнуло прямо в меня.

— Чем другим?

R сморщился:

— Чем-чем! Ну, если угодно — приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов... Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг — на тебе: «Я, говорит, — гений, гений — выше закона». И такое наляпал... Ну, да что... Эх!

Толстые губы висели, лак в глазах съело. R-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал: что он сейчас там перебирает — у себя в чемоданчике?

Минута неловкого, ассиметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то.

— К счастью, допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских — или как их там — прошли, — нарочно громко сказал я.

R повернулся лицом. Слова попрежнему брызгали, хлестали из него, но мне показалось — веселого лака в глазах уже не было.

— Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью! Мы — счастливейшее среднее арифметическое... Как это у вас говорится: проинтегрировать

от нуля до бесконечности — от кретина до Шекспира... Так!

Не знаю, почему — как будто, это было совершенно некстати — мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и R. (Какая?). Опять заворочался √-1. Я раскрыл бляху: 25 минут 17-го. У них на розовый талон оставалось 45 минут.

— Ну мне пора... — и я поцеловал О, пожал руку R, пошел к лифту.

На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся: в светлой, насквозь просолнеченной стеклянной глыбе дома — тут, там были сероголубые, непрозрачные клетки спущенных штор — клетки ритмичного тэйлоризованного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку R-13: он уже опустил шторы.

Милая О... Милый R... В нем есть тоже (не знаю, почему «тоже» — но пусть пишется, как пишется) — в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное. И все-таки я, он и О — мы треугольник, пусть даже и неравнобедренный, а все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков (быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык — понятней), мы — семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть, в простой, крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что...

Запись 9-ая.
Конспект:

ЛИТУРГИЯ. ЯМБЫ И ХОРЕИ. ЧУГУННАЯ РУКА.

Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях —

и все хрустально-неколебимое, вечное — как наше, новое стекло...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес — или, может быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь, цветы — губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц — в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу — мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву — мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству — спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях-годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...

Вот один — стоял на ступенях налитого солнцем Куба. Белое... и даже нет — не белое, а уж без цвета — стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с нумером — уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, повидимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).

А наверху, на Кубе, возле Машины — неподвиж-

ная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными, квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане, поставленные руки — выходят огромными, приковывают взор — заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки — ясно: они — каменные, и колени — еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест — и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к Кубу нумер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий — увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

...Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок — уж одни черные кресты скелетов. Но явился Прометей (это, конечно, мы). —

«И впряг огонь в машину, сталь,
И хаос заковал законом».

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец — «огонь с цепи спустил на волю» — и опять все гибнет...

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может? Нет: его толстые, негрские губы, это он... Отче-

го же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей — но все же: так волноваться...

Резкие, быстрые — острым топором — хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить.

R-13 бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости) — спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо — острый, черный треугольник — и тотчас же стерлось: мои глаза — тысячи глаз — туда, наверх, к Машине. Там — третий чугунный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром, — преступник идет, медленно, ступень — еще — и вот шаг, последний в его жизни — и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой — на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза — на этой руке. Какой это, должно быть, огненный, захватывающий вихрь — быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча — как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело — все в легкой, светящейся дымке — и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — ничего: только лужа химически-чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце...

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И, тем не менее, это всякий раз бы-

ло — как чудо, это было — как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним — разгоревшиеся лица десяти женских нумеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы *).

По старому обычаю — десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун — и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря — было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, — знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете...

Запись 10-ая.
Конспект:

ПИСЬМО. МЕМБРАНА. ЛОХМАТЫЙ Я.

Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы: все взвешенные частицы, всё лишнее остается на

*) Конечно, из Ботанического Музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого — как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.

этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный.

Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала нумера входящих. Ее имя — Ю... впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя в сущности, это — очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится — это то, что щеки у ней несколько обвисли — как рыбьи жабры (казалось бы: что тут такого?).

Она скрипнула пером, я увидел себя на странице: «Д-503» — и — рядом клякса.

Только что я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову — и капнула в меня чернильной этакой улыбочкой:

— А вот письмо. Да. Получите, дорогой — да, да, получите.

Я знал: прочтенное ею письмо — должно еще пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный порядок), и не позже 12 будет у меня. Но я был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля замутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже на постройке «Интеграла», я никак не мог сосредоточиться — и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со мной никогда не бывало.

В 12 часов — опять розовато-коричневые рыбьи жабры, улыбочка — и, наконец, письмо у меня в руках. Не зная почему, я не прочел его здесь же, а сунул в карман — и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами и — сел... Это было официальное извещение, что на меня записался нумер I-330 и что сегодня в 21 я должен явиться к ней — внизу адрес...

Нет: после всего, что было, после того как я

настолько недвусмысленно показал свое отношение к ней. Вдобавок, ведь она даже не знала: был ли я в Бюро Хранителей, — ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен — ну, вообще не мог... И несмотря на все — —

В голове у меня крутилась, гудела динамо. Будда — желтое — ландыши — розовый полумесяц... Да, и вот это — и вот это еще: сегодня хотела ко мне зайти О. Показать ей это извещение — относительно I-330? Я не знаю: она не поверит (да и как, в самом деле, поверить?), что я здесь не при чем, что я совершенно... И знаю: будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор... Нет, только не это. Пусть все решится механически: просто пошлю ей копию с извещения.

Я торопливо засовывал извещение в карман — и увидел эту свою ужасную, обезьянью руку. Вспомнилось, как она, I, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее. Неужели она действительно...

И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло — не наше, не настоящее, это — тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит... И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно — как та, за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы, и за шторами — —

Странное ощущение: я чувствовал ребра — это какие-то железные прутья и мешают — положительно мешают сердцу, тесно, не хватает места. Я стоял у стеклянной двери с золотыми цифрами: I-330. I, спиною ко мне, над столом, что-то писала. Я вошел...

— Вот... — протянул я ей розовый билет. — Я получил сегодня извещение и явился.

— Как вы аккуратны! Минутку — можно? Присядьте, я только кончу.

Опять опустила глаза в письмо — и что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет — что сделать через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она — оттуда, из дикой, древней страны снов.

Я молча смотрел на нее. Ребра — железные прутья, тесно... Когда она говорит — лицо у ней, как быстрое, сверкающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо — неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови — насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх — две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный, раздражающий X — как крест: перечеркнутое крестом лицо.

Колесо завертелось, спицы слились...

— А ведь вы не были в Бюро Хранителей?

— Я был... Я не мог: я был болен.

— Да. Ну, я так и думала: что-нибудь вам должно было помешать — все равно что (— острые зубы, улыбка). Но зато теперь вы — в моих руках. Вы помните: «Всякий нумер, в течение 48 часов не заявивший Бюро, считается»...

Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчишка, — глупо, как мальчишка, попался, глупо молчал. И чувствовал: запутался, — ни рукой, ни ногой...

Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с легким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира — вдвоем с ней.

I была где-то там у меня за спиной, возле шкафа. Юнифь шуршала, падала — я слушал — весь слу-

шал. И вспомнилось... нет: сверкнуло в одну сотую секунды...

Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка — странное существо, состоящее только из одного органа — уха. Я был сейчас такой мембраной.

Вот теперь щелкнула кнопка у ворота — на груди — еще ниже. Стеклянный шелк шуршит по плечам, коленам — по полу. Я слышу — и это еще яснее, чем видеть — из голубовато-серой шелковой груды вышагнула одна нога и другая...

Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет: резкие, с бесконечными паузами — удары молота о прутья. И я слышу — я вижу: она, сзади, думает секунду.

— Вот — двери шкафа, вот — стукнула какая-то крышка — и снова шелк, шелк...

— Ну, пожалуйста.

Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом, древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки — сквозь тонкую ткань, тлеющие розовым — два угля сквозь пепел. Два нежно-круглых колена...

Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней — флакон с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дымилось — в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение (как называется — сейчас забыл).

Мембрана все еще дрожала. Молот бил там — внутри у меня — в накаленные до-красна прутья. Я отчетливо слышал каждый удар и... и вдруг она это тоже слышит?

Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел — на мой розовый билетик.

Как можно хладнокровнее — я спросил:

— Послушайте, в таком случае — зачем же вы записались на меня? И зачем заставили меня прийти сюда?

Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.

— Прелестный ликер. Хотите?

Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вчерашнее: каменная рука Благодетеля, нестерпимое лезвие луча, но там: на Кубе — это вот, с закинутой головой, распростертое тело. Я вздрогнул.

— Слушайте, — сказал я, — ведь вы же знаете: всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем — Единое Государство беспощадно...

Темные брови — высоко к вискам, острый насмешливый треугольник:

— Быстро уничтожить немногих — разумней, чем дать возможность многим губить себя — и вырождение — и так далее. Это — до непристойности верно.

— Да... до непристойности.

— Да компанийку вот этаких вот лысых, голых истин — выпустить на улицу... Нет, вы представьте себе... ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя — ну, да вы его знаете, — представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд — и в истинном виде среди публики... Ох!

Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот, двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий — обнимал ее — такую... Он...

Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои — ненормальные — ощущения. Теперь, когда я

это пишу, я сознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как всякий честный нумер, имеет равное право на радости — и было бы несправедливо... Ну, да это ясно.

I смеялась очень странно и долго. Потом пристально посмотрела на меня — внутрь:

— А главное — я с вами совершенно спокойна. Вы такой милый — о, я уверена в этом, — вы и не подумаете пойти в Бюро и сообщить, что вот я — пью ликер, я — курю. Вы будете больны — или вы будете заняты — или уж не знаю что. Больше: я уверена — вы сейчас будете пить со мной этот очаровательный яд...

Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чувствовал: сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему «сейчас»? Я ненавидел ее все время.

Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и просвечивая сквозь шафранное розовым — сделала несколько шагов — остановилась сзади моего кресла...

Вдруг — рука вокруг моей шеи — губами в губы... нет, куда-то еще глубже, еще страшнее... Клянусь, это было совершенно неожиданно для меня, и, может быть, только потому... Ведь не мог же я — сейчас я это понимаю совершенно отчетливо — не мог же я сам хотеть того, что потом случилось.

Нестерпимо-сладкие губы (я полагаю — это был вкус «ликера»), — и в меня влит глоток жгучего яда — и еще — и еще... Я отстегнулся от земли и самостоятельной планетой, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз — по какой-то невычисленной орбите...

Дальнейшее я могу описать только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий.

Раньше мне это как-то никогда не приходило в голову — но ведь это именно так: мы, на земле, все время ходим над клокочущим, багровым морем огня,

скрытого там — в чреве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной, вдруг бы мы увидели...

Я стал стеклянным. Я увидел — в себе, внутри.

Было два меня. Один я — прежний, Д-503, нумер Д-503, а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что тогда?

Изо всех сил ухватившись за соломинку — за ручки кресла — я спросил, чтобы услышать себя — того, прежнего:

— Где... где вы достали этот... этот яд?

— О, это! Просто один медик, один из моих...

— «Из моих»? «Из моих» — кого?

И этот другой — вдруг выпрыгнул и заорал:

— Я не позволю! Я хочу, чтоб никто кроме меня. Я убью всякого, кто... Потому что я вас — я вас — —

Я увидел: лохматыми лапами он грубо схватил ее, разодрал у ней тонкий шелк, впился зубами — я точно помню: именно зубами.

Уж не знаю как — I выскользнула. И вот — глаза задернуты этой проклятой непроницаемой шторой — она стояла, прислонившись спиной к шкафу и слушала меня.

Помню: я был на полу, обнимал ее ноги, целовал колени. И молил: «Сейчас — сейчас же — сию же минуту»...

Острые зубы — острый, насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху.

— «Да! Да, милая — милая», — я стал торопливо сбрасывать с себя юнифу. Но I — так же молчаливо — поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут 22½.

Я похолодел. Я знал, что это значит — показаться на улице позже 22½. Все мое сумасшествие — сразу как сдунуло. Я — был я. Мне было ясно одно: я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

Не прощаясь, не оглядываясь — я кинулся вон из комнаты. Кое-как прикалывая бляху на бегу, через ступени — по запасной лестнице (боялся — кого-нибудь встречу в лифте) — выскочил на пустой проспект.

Все было на своем месте — такое простое, обычное, закономерное: стеклянные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным стеклом — неслось неслышно буйное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался — чтобы не опоздать.

Вдруг почувствовал: наспех приколотая бляха отстегивается — отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар. Нагнулся поднять — и в секундной тишине: чей-то топот сзади. Обернулся: из-за угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.

Я понесся во весь дух — только в ушах свистело. У входа остановился: на часах было без одной минуты 22½. Прислушался: сзади никого. Все это — явно была нелепая фантазия, действие яда.

Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась — плыла по синусоиде. Я внушал себе : «Ночью — нумера обязаны спать; это обязанность — такая же, как работа днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью — преступно...» И все же не мог, не мог.

Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством... Я...

Запись 11-ая
Конспект:

...НЕТ, НЕ МОГУ, ПУСТЬ ТАК, БЕЗ КОНСПЕКТА.

Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью и не видно: что там — дальше, выше. Древние знали, что там их величайший, скучающий скептик — Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там: я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочно — это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил, что знаю в себе все. И вот —

Я — перед зеркалом. И первый раз в жизни — именно так: первый раз в жизни — вижу себя ясно, отчетливо, сознательно, — с изумлением вижу себя, как кого-то «его». Вот я — он: черные, прочерченные по прямой брови; и между ними — как шрам — вертикальная морщина (не знаю: была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи; и за этой сталью... оказывается, я никогда не знал, что там. И из «там» (это «там» одновременно и здесь, и бесконечно далеко) — из «там» я гляжу на себя — на него, и твердо знаю: он — с прочерченными по прямой бровями — посторонний, чужой мне, я встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я — не — он...

Нет: точка. Все это — пустяки, и все эти нелепые ощущения — бред, результат вчерашнего отравления... Чем: глотком зеленого яда — или ею? Все равно. Я записываю это, только чтобы показать, как может странно запутаться и сбиться человеческий — такой точный и острый — разум. Тот разум, который даже эту, пугавшую древних, бесконечность сумел сделать удобоваримой — посредством...

Щелк нумератора — и цифры: R-13. Пусть, я даже рад: сейчас одному мне было-бы...

Через 20 минут.

На плоскости бумаги, в двухмерном мире — эти строки рядом, но в другом мире... Я теряю цифроощущение: 20 минут — это может быть, 200 или 200.000. И это так дико: спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с R. Все равно, как если бы вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати — и с любопытством смотрели, как вы, вы же, — корчитесь на этой кровати.

Когда вошел R-13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец.

— ...И даже так: если бы мне предложили сделать схематический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно — непременно — как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи, — закончил я.

Вдруг вижу: у R — матовеют глаза, сереют губы.

— Что с вами?

— Что-что? Ну... Ну просто надоело: все кругом — приговор, приговор. Не желаю больше об этом — вот и все. Ну, не желаю!

Он насупился, тер затылок — этот свой чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажем. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, развертывает, развернул — залакировались смехом глаза, вскочил.

— А вот для вашего «Интеграла» я сочиняю... это — да! Это вот да!

Прежний: губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном.

— Понимаете («п» — фонтан) — древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю — был предоставлен выбор: или счастье без свободы — или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу — и что же: понятно — потом века тосковали об оковах. Об оковах — понимаете, — вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье... Нет, вы дальше — дальше слушайте! Древний Бог и мы рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно одолеть диавола — это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он — змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему — тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все — очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители — все это добро, все это — величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу — то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову — этика, неэтика... Ну, да ладно: словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший... понимаете? Штучка, а?

Ну еще бы не понять. Помню, я подумал: «такая у него нелепая, ассиметричная внешность и такой правильно мыслящий ум». И оттого он так близок мне — настоящему мне (я все же считаю прежнего себя — настоящим, все теперешнее — это, конечно, только болезнь).

R, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал.

— Ах вы... Адам! Да, кстати, насчет Евы...

Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал.

— Послезавтра... нет: через два дня — у О розовый талон к вам. Так как вы? Попрежнему? Хотите, чтобы она...

— Ну да, ясно.

— Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется... Такая, я вам скажу, история! Меня она только так, розово-талонно, а вас... И не говорит, кто это четвертый влез в наш треугольник. Кто — кайтесь, греховодник, ну?

Во мне взвился занавес, и — шелест шелка, зеленый флакон, губы... И ни к чему, некстати — у меня вырвалось (если бы я удержался!):

— А скажите: вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь?

R подобрал губы, поглядел на меня исподлобья. Я совершенно ясно слышал его мысли: «Приятель-то ты — приятель... А все-таки...». И ответ:

— Да как сказать? Собственно — нет. Но я знал одну женщину...

— I, — закричал я.

— Как... вы — вы тоже с нею? — налился смехом, захлебнулся, и сейчас брызнет.

Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол: отсюда с кресла, я видел только свой лоб и брови.

И вот я — настоящий — увидел в зеркале исковерканную прыгающую прямую бровей, и я настоящий — услышал дикий, отвратительный крик:

— Что «тоже»? Нет: что такое «тоже»? Нет, — я требую.

Распяленные негрские губы. Вытаращенные глаза... Я — настоящий — крепко схватил за шиворот этого другого себя — дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я — настоящий — сказал ему, R:

— Простите меня, ради Благодетеля. Я совсем болен, не сплю. Не понимаю, что со мной...

Толстые губы мимолетно усмехнулись:

— Да-да-да! Я понимаю — я понимаю! Мне все это знакомо... разумеется, теоретически. Прощайте!

В дверях повернулся черным мячиком — назад к столу, бросил на стол книгу:

— Последняя моя... Нарочно принес — чуть не забыл. Прощайте... — «п» брызнуло в меня, укатился...

Я — один. Или, вернее: наедине с этим, другим «я». Я — в кресле, и, положив нога на ногу, из какого-то «там» с любопытством гляжу, как я — я же, — корчусь на кровати.

Отчего — ну, отчего целых три года я и O — жили так дружески — и вдруг теперь одно только слово о той, об I... Неужели всё это сумасшествие — любовь, ревность — не только в идиотских древних книжках? И главное — я! Уравнения, формулы, цифры — и... это — ничего не понимаю! Ничего... Завтра же пойду к R и скажу, что — —

Неправда: не пойду. И завтра, и послезавтра — никогда больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конец! Треугольник наш — развалился.

Я — один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью, если бы знать: что там — выше? И если бы знать: кто — я, какой — я?

Запись 12-ая.
Конспект:

ОГРАНИЧЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ. АНГЕЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ.

Мне все же кажется — я выздоровею, я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне ми-

лая О, все будет просто, правильно и ограничено как круг. Я не боюсь этого слова — «ограниченность»: работа высшего, что есть в человеке — рассудка — сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на удобные, легко переваримые порции — — дифференциалы. В этом именно божественная красота моей стихии — математики. И вот понимания этой самой красоты как раз и не хватает той. Впрочем, это так — случайная ассоциация.

Все это — под мерный, метрический стук колес подземной дороги. Я про себя скандирую колеса — и стихи R (его вчерашняя книга). И чувствую: сзади, через плечо, осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу. Не оборачиваясь, одним только уголком глаза, я вижу: розовые, распростертые крылья-уши, двояко-изогнутое... он! Не хотелось мешать ему — и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут — не знаю: когда я входил в вагон — его как будто не было.

Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня, я бы сказал: укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охраняющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия: ангелы-хранители, о которых мечтали древние. Как много из того, о чем они только мечтали, в нашей жизни материализировалось.

В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя за спиной, я наслаждался сонетом, озаглавленным «счастье». Думаю — не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,

Самые жаркие любовники в мире —
Неотрывающиеся дважды два...

И дальше все об этом: о мудром, вечном счастьи таблицы умножения.

Всякий подлинный поэт — непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R-13 существовала века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдорадо. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире. Сталь — ржавеет; древний Бог — создал древнего, т.е. способного ошибаться, человека — и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда — понимаете: никогда — не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина — одна, и истинный путь — один; и эта истина — дважды два, и этот истинный путь — четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки — стали думать о какой-то свободе, т.е. ясно — об ошибке? Для меня — аксиома, что R-13 сумел схватить самое основное, самое...

Тут я опять почувствовал — сперва на своем затылке, потом на левом ухе — теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он, явно, приметил, что книга на коленях у меня — уже закрыта и мысли мои — далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга: это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял — или не захотел понять — он ни о чем меня не спросил... Мне остается одно: всё рассказывать вам, неведомые

мои читатели (сейчас вы для меня так же дороги, и близки, и недосягаемы — как был он в тот момент).

Вот был мой путь: от части к целому; часть — R-13, величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова — тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал — о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограммометров — уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шопота волн — добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя — мы сделали домашнее животное; и точно так же у нас приручена и оседлана, когда-то дикая, стихия поэзии. Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность.

Наши знаменитые «Математические Нонны»: без них — разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А «Шипы» — этот классический образ: Хранители — шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний... Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих, как молитву: «Злой мальчик розу хвать рукой. Но шип стальной кольнул иглой, шалун — ой, ой — бежит домой» и так далее? А «Ежедневные оды Благодетелю»? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие, красные «Цветы Судебных приговоров»? А бессмертная трагедия «Опоздавший на работу»? А настольная книга «Стансов о половой гигиене»?

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте — навеки зачеканена в золоте слов.

Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального Завода; их лира — утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в Машине Благодетеля, и величественное эхо гимна Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияющей ночной вазы, и волнующий треск падающих штор, и веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слышный шопот уличных мембран.

Наши боги — здесь, внизу, с нами — в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго — мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша...

Запись 13-ая.
Конспект:

ТУМАН. ТЫ. СОВЕРШЕННО НЕЛЕПОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

На заре проснулся, — в глаза мне розовая, крепкая твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я — несомненно уже здоров. Улыбнулся, заснул.

Утренний звонок, — встаю — и совсем другое: сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь — туман. Сумасшедшие облака, всё тяжелее — и легче, и ближе, и уже нет границ между землею и небом, всё летит, тает, падает, не за что ухватиться. Нет больше домов: стеклянные стены распустились в тумане, как кристаллики соли в воде. Если посмотреть с тротуара — темные фигуры людей в домах — как взвешенные

частицы в бредовом, молочном растворе — повисли низко, и, выше, и еще выше — в десятом этаже. И все дымится — может быть, какой-то неслышно бушующий пожар.

Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы — чтобы ухватиться за цифры — чтобы спасли хоть цифры.

В 11.45, перед тем, как идти на обычные, согласно Часовой Скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок, голос — длинная, медленная игла в сердце:

— Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы с вами отправимся... ну, там увидите куда.

— Вы отлично знаете: я сейчас иду на работу.

— Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания. Через две минуты...

Через две минуты я стоял на углу. Нужно же было показать ей, что мною управляет Единое Государство, а не она. «Так, как я вам говорю»... И ведь уверена: слышно по голосу. Ну, сейчас я поговорю с ней по настоящему...

Серые, из сырого тумана сотканные юнифы торопливо существовали возле меня секунду и неожиданно растворялись в туман. Я не отрывался от часов, я был — острая, дрожащая секундная стрелка. Восемь, десять минут... Без трех, без двух двенадцать...

Кончено. На работу — я уже опоздал. Как я ее ненавижу. Но надо же мне было показать...

На углу в белом тумане — кровь — разрез острым ножом — губы.

— Я, кажется, задержала вас. Впрочем, всё равно. Теперь вам поздно уже.

Как я ее — — впрочем, да: поздно уж.

Я молча смотрел на губы. Все женщины — губы, одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная ограда от всего мира. И эти: секунду назад их

не было, и только вот сейчас — ножом, — и еще каплет сладкая кровь.

Ближе — прислонилась ко мне плечом — и мы одно, из нее переливается в меня — и я знаю: так нужно. Знаю каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покориться этому нужно. Вероятно, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону — и впиться в магнит. Камню, брошенному вверх, секунду поколебаться — и потом стремглав вниз, наземь. И человеку, после агонии, наконец вздохнуть последний раз — и умереть.

Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:

— Туман... Очень.

— Ты любишь туман?

Это древнее, давно забытое «ты», «ты» властелина к рабу — вошло в меня остро, медленно: да я раб, и это — тоже нужно, тоже хорошо.

— Да, хорошо... — вслух сказал я себе. И потом ей: — я ненавижу туман. Я боюсь тумана.

— Значит — любишь. Боишься — потому, что это сильнее тебя, ненавидишь — потому что боишься, любишь — потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное.

Да, это так. И именно потому — именно потому я...

Мы шли двое — одно. Где-то далеко сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир — единая необъятная женщина, и мы — в самом ее чреве, мы еще не родились, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно: все — для меня: солнце, туман, розовое, золотое — для меня...

Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы идти, идти, зреть, наливаться все упруже — —

— Ну вот... — I остановилась у дверей. — Здесь сегодня дежурит как раз один... Я о нем говорила тогда, в древнем Доме.

Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зреющее — прочел вывеску: «Медицинское Бюро». Все понял.

Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубках.

И человечек — тончайший. Он весь, как будто вырезан из бумаги, и как бы он ни повернулся — все равно у него только профиль, остро-отточенный: сверкающее лезвие — нос, ножницы — губы.

Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она говорила — и чувствовал: улыбаюсь неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:

— Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь — опаснее я ничего не знаю... — засмеялся, тончайшей бумажной рукой быстро написал что-то, отдал листок I; написал — отдал мне.

Это были удостоверения, что мы — больны, что мы не можем явиться на работу. Я крал свою работу у Единого Государства, я — вор, я — под Машиной Благодетеля. Но это мне — далеко, равнодушно, как в книге... Я взял листок, не колеблясь ни секунды; я — мои глаза, губы, руки — я знал: так нужно.

На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро. I опять, как тогда, села за руль, подвинула стартер на «вперед», мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами всё: розово-золотой туман; солнце; тончайше-лезвийный профиль врача, вдруг такой любимый и близкий. Раньше — все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня — медленно, блаженно, с зажмуренными глазами...

Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, зарос-

ший, с лучами-морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти дни — и только сейчас раскрылся, улыбнулся:

— А-а, проказница! Нет, чтобы работать, как все... ну, уж, ладно! Если что — я тогда прибегу, скажу...

Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась и тотчас же с болью раскрылось сердце широко — еще шире: — настежь. Ее губы — мои, я пил, пил, отрывался, молча глядел в распахнутые мне глаза — и опять...

Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое, темно-зеленый сафьян, золотая улыбка Будды, мерцание зеркал. И — мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край, брызнет — —

Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному непреложному закону — я влился в нее. Не было розового талона, не было счета, не было Единого Государства, не было меня. Были только нежно-острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне золотые глаза — и через них я медленно входил внутрь, все глубже. И тишина — только в углу — за тысячи миль капают капли в умывальнике и я — вселенная, и от капли до капли — эры, эпохи...

Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I — и глазами вбирал в себя ее последний раз.

— Я знала это... Я знала тебя... — сказала I, очень тихо. Быстро поднялась, надела юнифу и всегдашнюю свою острую улыбку-укус.

— Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет, не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?

Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену шкафа; через плечо — на меня, ждала. Я послушно

вышел. Но едва переступил порог — вдруг стало нужно, чтобы она прижалась ко мне плечом — только на секунду плечом, больше ничего.

Я кинулся назад — в ту комнату, где она (вероятно) еще застегивала юнифу перед зеркалом, вбежал — и остановился. Вот — ясно вижу — еще покачивается старинное кольцо на ключе в двери шкафа, а I — нет. Уйти она никуда не могла — выход из комнаты только один — и все-таки ее нет. Я обшарил все, я даже открыл шкаф и ощупал там пестрые, древние платья: никого...

Мне как-то неловко, планетные мои читатели, рассказывать вам об этом совершенно невероятном происшествии. Но что ж делать, если все это было именно так. А разве весь день с самого утра не был полон невероятностей, разве не похоже все на эту древнюю болезнь сновидений? И если так — не все ли равно: одной нелепостью больше или меньше? Кроме того, я уверен: раньше или позже всякую нелепость мне удастся включить в какой-нибудь силлогизм. Это меня успокаивает, надеюсь успокоит и вас.

...Как я полон! Если бы вы знали: как я полон!

Запись 14-ая.
Конспект:

«МОЙ». НЕЛЬЗЯ. ХОЛОДНЫЙ ПОЛ.

Все еще о вчерашнем. Личный час перед сном у меня был занят, и я не мог записать вчера. Но во мне все это — как вырезано, и потому-то особенно — должно быть, навсегда — этот нестерпимо-холодный пол...

Вечером должна была ко мне прийти О — это был ее день. Я спустился к дежурному взять право на шторы.

— Что с вами, — спросил дежурный. — Вы какой-то сегодня...

— Я... я болен...

В сущности, это была правда: я, конечно, болен. Все это болезнь. И тотчас же вспомнилось: да, ведь удостоверение... Пощупал в кармане: вот — шуршит. Значит — все было, все было действительно...

Я протянул бумажку дежурному. Чувствовал, как загорелись щеки; не глядя видел: дежурный удивленно смотрит на меня...

И вот — 21½. В комнате слева — спущены шторы. В комнате справа — я вижу соседа: над книгой — его шишковатая, вся в кочках лысина и лоб — огромная, желтая парабола. Я мучительно хожу, хожу: как мне — после всего — с нею, с О? И справа — ясно чувствую на себе глаза, отчетливо вижу морщины на лбу — ряд желтых, неразборчивых строк; и мне почему-то кажется — эти строки обо мне.

Без четверти 22 в комнате у меня — радостный розовый вихрь, крепкое кольцо розовых рук вокруг моей шеи. И вот чувствую: все слабее кольцо, все слабее — разомкнулось — руки опустились...

— Вы не тот, вы не прежний, вы не мой!

— Что за дикая терминология: «мой». Я никогда не был... — и запнулся: мне пришло в голову — раньше не был, верно, но теперь... Ведь я теперь живу не в нашем разумном мире, а в древнем, бредовом, в мире корней из минус-единицы.

Шторы падают. Там, за стеной направо, сосед роняет книгу со стола на пол, и в последнюю, мгновенную узкую щель между шторой и полом — я вижу: желтая рука схватила книгу, и во мне: изо всех сил ухватиться бы за эту руку...

— Я думала — я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом — мне надо вам так много...

Милая, бедная О! Розовый рот — розовый полумесяц рожками книзу. Но не могу же я рассказать ей все, что было — хотя бы потому, что это сделает ее соучастницей моих преступлений: ведь я знаю, у ней не хватит силы пойти в Бюро Хранителей и, следовательно — —

О лежала. Я медленно целовал ее. Я целовал эту наивную пухлую складочку на запястьи, синие глаза были закрыты, розовый полумесяц медленно расцветал, распускался — и я целовал ее всю.

Вдруг ясно чувствую: до чего все опустошено, отдано. Не могу, нельзя. Надо — и нельзя. Губы у меня сразу остыли...

Розовый полумесяц задрожал, померк, скорчился. О накинула на себя покрывало, закуталась — лицом в подушку...

Я сидел на полу возле кровати — какой отчаянно-холодный пол, — сидел молча. Мучительный холод снизу — все выше, все выше. Вероятно — такой же молчаливый холод там, в синих, немых междупланетных пространствах.

— Поймите же: я не хотел... — пробормотал я... — Я всеми силами...

Это правда: я, настоящий я — не хотел. И все же: какими словами сказать ей. Как объяснить ей, что железо не хотело, но закон — неизбежен, точен — —

О подняла лицо из подушек и не открывая глаз сказала:

— Уйдите, — но от слез вышло у нее «ундите» — и вот почему-то врезалась и эта нелепая мелочь.

Весь пронизанный холодом, цепенея, я вышел в коридор. Там за стеклом — легкий чуть приметный дымок тумана. Но к ночи, должно быть опять он спустится, налегнет во всю. Что будет за ночь?

О молча скользнула мимо меня, к лифту — стукнула дверь.

— Одну минутку, — крикнул я: стало страшно.
Но лифт уже гудел вниз, вниз, вниз...
Она отняла у меня R.
Она отняла у меня О.
И все-таки, и все-таки...

Запись 15-ая.
Конспект:

КОЛОКОЛ. ЗЕРКАЛЬНОЕ МОРЕ. МНЕ ВЕЧНО ГОРЕТЬ.

Только вошел в эллинг, где строится «Интеграл» — как навстречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое — тарелка, и говорит — подносит на тарелке что-то такое нестерпимо-вкусное:

— Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать — происшествие.

— Происшествие?

— Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга выпускать — и представьте: выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как он пробрался — понять не могу. Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем... (улыбка — вкусная...).

В Операционном — работают наши лучшие и опытнейшие врачи, под непосредственным руководством самого Благодетеля. Там — разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это в сущности старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак; воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше... Ну, и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол, значительно более совершенный аппарат — с применением различных га-

зов, и затем — тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель — забота о безопасности Единого Государства, другими словами — о счастии миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционное с древней инквизицией, но ведь это так нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и тоже — режут горло живому человеку. И все-таки один — благодетель, другой — преступник, один со знаком +, другой со знаком — ...

Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус — и вот наверху уж другое: еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули, — а ее, I нет: исчезла. Этого машина никак не могла провернуть. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече — прижавшись к правому плечу, I — рядом со мной в тумане. «Ты любишь туман»? Да, и туман... все люблю, и все — упругое, новое, удивительное, все — хорошо...

— Все — хорошо, — вслух сказал я.

— Хорошо? — кругло вытаращились фаянсовые глаза. — То есть, что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился... стало быть, они — всюду, кругом, все время, они тут, они — около «Интеграла», они...

— Да кто они?

— А почем я знаю, кто. Но я их чувствую — понимаете? Все время.

— А вы слыхали: будто какую-то операцию изобрели — фантазию вырезывают? (На днях, в самом деле, я что-то вроде этого слышал).

— Ну, знаю. Причем же это тут?

— А притом, что я бы на вашем месте — пошел и попросил сделать себе эту операцию.

На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый — ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же: неделю назад — вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь — теперь нет: потому что я знаю, что это у меня есть — что я болен. И знаю еще — не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все — под нами внизу — как на ладони...

Вы, читающие эти записки — кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас — вы знаете, какое бывает — какое может быть — утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух — чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все — живое: живые и мягкие — камни; живое и теплое — железо; живые и все до одного улыбаются — люди. Может случиться через час — все исчезнет, через час — выкаплет розовая кровь, но пока — живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках «Интеграла»; я вижу: «Интеграл» мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы, — вы обязаны быть счастливыми и уже недолго вам ждать.

Корпус «Интеграла» почти готов: изящный, удлиненный эллипсоид из нашего стекла — вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра — шпангоуты, продольные — стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые

3 секунды — взрыв; каждые 3 секунды могучий хвост «Интеграла» будет низвергать пламя и газы в мировое пространство — и будет нестись, нестись — огненный Тамерлан счастья...

Я видел: по Тэйлору, размеренно и быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел, по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны, и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево «Интеграла» свои грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка... Скорее — вниз, к ним, с ними!

И вот — плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом... Мерные движения: упруго-круглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей, лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.

И вдруг один — безмятежно обернулся ко мне:

— Ну как: ничего, лучше сегодня?

— Что лучше?

— Да вот — не было-то вас вчера. Уж мы думали — у вас опасное что... — сияет лоб, улыбка — детская, невинная.

Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог — не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул...

Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной фаянсовое лицо.

— Эй, Д-503! Пожалуйте-ка сюда! Тут у нас, понимаете, получилась жесткая рама с консолями и узловые моменты дают напряжение на квадратной.

Не дослушав, я опрометью бросился к нему наверх — я позорно спасался бегством. Не было силы

поднять глаза — рябило от сверкающих, стеклянных ступеней под ногами, и с каждой ступенью: все безнадежней: мне, преступнику, отравленному — здесь не место. Мне никогда уж больше не влиться в точный механический ритм, не плыть по зеркально-безмятежному морю. Мне — вечно гореть, метаться, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза — вечно, пока я, наконец, не найду силы пройти и — —

И ледяная искра — насквозь: я — пусть; я — все равно; но ведь надо будет и о ней, и ее тоже...

Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю, куда теперь, не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх. Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Внизу — был «Интеграл», серостеклянный, неживой. Розовая кровь вытекла, мне ясно, что все это — только моя фантазия, что все осталось попрежнему, и в то же время ясно...

— Да вы что, 503, оглохли? Зову, зову... Что с вами? — Это Второй Строитель — прямо над ухом у меня: должно быть, уж давно кричит.

Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит во всю, аэро дрожит и мчится, но руля нет, — и я не знаю, куда мчусь: вниз — и сейчас об земь, или вверх — и в солнце, в огонь...

Запись 16-ая.
Конспект:

ЖЕЛТОЕ. ДВУХМЕРНАЯ ТЕНЬ. НЕИЗЛЕЧИМАЯ ДУША.

Не записывал несколько дней. Не знаю, сколько: все дни — один. Все дни — одного цвета — желтого, как иссушенный, накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не

могу без нее — а она, с тех пор, как тогда непонятно исчезла в Древнем Доме...

С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад — не знаю: все дни — один. Она промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир. С нею об руку — по плечо ей — двоякий S, и тончайше-бумажный доктор, и кто-то четвертый — запомнились только его пальцы: они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей — необычайно тонкие, белые, длинные. I подняла руку, помахала мне; через голову I — нагнулась к тому с пальцами-лучами. Мне послышалось слово «Интеграл»: все четверо оглянулись на меня; и вот уже потерялись в серо-голубом небе, и снова — желтый, иссушенный путь.

Вечером в тот день у нее был розовый билет ко мне. Я стоял перед нумератором — и с нежностью, с ненавистью, умолял его, чтобы щелкнул, чтобы в белом прорезе появилось скорее: I-330. Хлопала дверь, выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые; падали кругом шторы. Ее не было. Не пришла.

И, может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это — она закрывши глаза, также прислоняется к кому-то, плечом и также говорит кому-то: «Ты любишь?» Кому? Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый, брызжущий R? Или S?

S... Почему все дни я слышу с собой его плоские, хлюпающие, как по лужам, шаги? Почему он все дни за мной — как тень? Впереди, сбоку, сзади, серо-голубая, двухмерная тень: через нее проходят, на нее наступают, но она — все так же неизменно здесь, рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина она — I? Не знаю. Или, быть может, им, Хранителям, уже известно, что я...

Если бы вам сказали: ваша тень видит вас, все время видит. Понимаете? И вот вдруг — у вас странное ощущение: руки посторонние, мешают, и я ловлю себя

на том, что нелепо, не в такт шагам, размахиваю руками. Или вдруг — непременно оглянуться, а оглянуться нельзя, ни за что, шея — закована. И я бегу, бегу все быстрее, и спиною чувствую: быстрее за мною тень, и от нее — никуда, никуда...

У себя в комнате — наконец, один. Но тут другое: телефон. Опять беру трубку: «Да, I-330, пожалуйста». И снова в трубке — легкий шум, чьи-то шаги, в коридоре — мимо дверей ее комнаты, и молчание... Бросаю трубку — и не могу, не могу больше. Туда — к ней.

Это было вчера. Побежал туда и целый час, от 16 до 17, бродил около дома, где она живет. Мимо, рядами, нумера. В такт сыпались тысячи ног, миллионноногий левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я — один, выхлестнут бурей на необитаемый остров, и ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах.

Вот сейчас откуда-нибудь — остро-насмешливый угол поднятых к вискам бровей, и темные окна глаз, и там, внутри — пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда, внутрь, и скажу ей «ты» — непременно «ты»: «Ты же знаешь — я не могу без тебя. Так зачем же?».

Но она — молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу — Музыкальный Завод, и понимаю: уже больше 17, все давно ушли, я — один, я — опоздал. Кругом — стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу: как в воде — в стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые, сверкающие стены, и опрокинуто, насмешливо, вверх ногами подвешен я.

Мне нужно скорее, сию же секунду — в Медицинское Бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и — — А, может быть, это и будет самое лучшее. Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят, доставят в Операционное — сразу все кончить, сразу все искупить.

Легкий шорох, и передо мною — двояко-изогну-

тая тень. Я не глядя, чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал — что-нибудь нужно было сказать:

— Мне... мне надо в Медицинское Бюро.

— Зачем же дело? Чего же вы стоите здесь?

Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги — я молчал, весь полыхая от стыда.

— Идите за мной, — сурово сказал S.

Я покорно пошел, размахивая ненужными, посторонними руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в диком, перевернутом вниз головой — мире: вот какие-то машины — фундаментом вверх, и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже — скованное толстым стеклом мостовой небо. Помню: обидней всего было, что последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто, не по-настоящему. Но глаз поднять было нельзя.

Остановились. Передо мною — ступени. Один шаг — и я увижу: фигуры в белых докторских фартуках, огромный немой Колокол...

С силой, каким-то винтовым приводом, я, наконец, оторвал глаза от стекла под ногами — вдруг в лицо мне брызнули золотые буквы «Медицинское»... Почему он привел меня сюда, а не в Операционное, почему он пощадил меня — об этом я в тот момент даже и не подумал: одним скачком — через ступени, плотно захлопнул за собой дверь — и вздохнул. Так: будто с самого утра я не дышал, не билось сердце — и только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди...

Двое: один — коротенький, тумбоногий — глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой — тончайший, сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос... Тот самый.

Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лез-

вия — что-то о бессонице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.

— Плохо ваше дело! Повидимому, у вас образовалась душа.

Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб», но душа — —

— Это... очень опасно, — пролепетал я.

— Неизлечимо, — отрезали ножницы.

— Но... собственно, в чем же суть? Я как-то не... не представляю.

— Видите... как бы это вам... Ведь вы математик?

— Да.

— Так вот — плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот — видите, и щурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон — мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте — от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней — все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми, — дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала — внутри вас — солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает; а это — впитывает, и от всего след — навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице — и она уже навсегда в вас: однажды вы услышали: в тишине упала капля — и вы слышите сейчас...

— Да, да, именно... — я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из — крана умывальника — медленно капают капли в тишину. И я знал это — навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было — и вдруг... Почему ни у кого нет, а у меня...

Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.

— Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев — одни только лопаточные кости — фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже ненужны — есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья — чтобы летать, а нам уже некуда: мы — прилетели, мы — нашли. Не так ли?

Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протоптал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.

— В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Чорт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тончайшего на рога) — я вам говорил: надо у всех — у всех фантазию... Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия...

Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа — в мой мозг, записывал что-то в книжку.

— Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно! Послушайте: а не согласились бы вы... заспиртоваться? Это было бы для Единого Государства чрезвычайно... это помогло бы нам предупредить эпидемию... Если у вас, разумеется, нет особых оснований...

— Видите-ли, — сказал он, — нумер Д-503 — строитель «И н т е г р а л а», и я уверен — это нарушило бы...

— А, — промычал тот и затумбовал назад в свой кабинет.

Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку, профильное лицо близко нагнулось ко мне; он шепнул:

— По секрету скажу вам — это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомни-

те-ка, разве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее — очень похожее, очень близкое... — он пристально посмотрел на меня. На что он намекает — на кого? Неужели — —

— Слушайте... — я вскочил со стула. Но он уже громко заговорил о другом:

— ... А от бессонницы, от этих ваших снов — могу вам одно посоветовать: побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь... ну хоть бы к Древнему Дому.

Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше. И мне показалось: я совершенно ясно увидел завернутое в тонкую ткань этой улыбки слово — букву — имя, единственное имя... Или это опять только фантазия?

Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра, еще раз молча, крепко сжал ему руку и выбежал наружу.

Сердце — легкое, быстрое, как аэро, и несет, несет меня вверх. Я знал: завтра — какая-то радость. Какая?

Запись 17-ая.
Конспект:

СКВОЗЬ СТЕКЛО. Я УМЕР. КОРИДОРЫ.

Я совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент, когда я думал, что все уже распуталось, найдены все иксы — в моем уравнении появились новые неизвестные.

Начало координат во всей этой истории — конечно, Древний Дом. Из этой точки — оси X-ов, Y-ов, Z-ов, на которых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси X-ов (Проспекту 59-му) я шел пешком к началу координат. Во мне — пестрым вихрем вче-

рашнее: опрокинутые дома и люди, мучительно-посторонние руки, сверкающие ножницы, острокапающие капли из умывальника — так было, было однажды. И все это — разрывая мясо — стремительно крутится там — за расплавленной от огня поверхностью, где «душа».

Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет: круговая дорога у подножия Зеленой Стены. Из необозримого зеленого океана за Стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев — встал на дыбы — сейчас захлестнет меня, и из человека — тончайшего и точнейшего из механизмов — я превращусь...

Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном — стекло Стены. О, великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолировали свой машинный, совершенный мир — от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных...

Сквозь стекло на меня — туманно, тускло — тупая морда какого-то зверя, желтые глаза, упорно повторяющие одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг другу в глаза — в эти шахты из поверхностного мира в другой, заповерхностный. И во мне копошится: «А вдруг он, желтоглазый — в своей нелепой, грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни — счастливее нас?».

Я взмахнул рукой, желтые глаза мигнули, попятились, пропали в листве. Жалкое существо! Какой абсурд: он — счастливее нас! Может быть, счастливее меня — да; но ведь я — только исключение, я болен.

Да и я... Я уже вижу темно-красные стены Древнего Дома — и милый заросший старушечий рот — я кидаюсь к старухе со всех ног:

— Тут она?

Заросший рот раскрылся медленно:

— Это кто же такое — она?

— Ах, ну кто — кто? Да I, конечно... Мы же вместе с ней тогда — на аэро...

— А-а, так, так... Так-так-так...

Лучи — морщины около губ, лукавые лучи из желтых глаз, пробирающихся внутрь меня — все глубже... И наконец:

— Ну, ладно уж... тут она, недавно прошла.

Тут. Я увидел: у старухиных ног — куст серебристо-горькой полыни (двор Древнего Дома — это тот же музей, он тщательно сохранен в доисторическом виде), полынь протянула ветку на руку к старухе, старуха поглаживает ветку, на коленях у ней — от солнца желтая полоса. И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза — мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам — одна общая, буйная, великолепная кровь...

Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих записках быть откровенным до конца. Так вот: я нагнулся — и поцеловал заросший, мягкий, моховой рот. Старуха утерлась, засмеялась...

Бегом через знакомые полутесные гулкие комнаты — почему-то прямо туда, в спальню. Уже у дверей схватился за ручку и вдруг: «А если она там не одна»? Стал, прислушался. Но слышал только: тукало около — не во мне, а где-то около меня — мое сердце.

Вошел. Широкая, несмятая кровать. Зеркало. Еще зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там — ключ со старинным кольцом. И никого.

Я тихонько позвал:

— I! Ты здесь? — И еще тише, с закрытыми гла-

зами, не дыша, — так, как если бы я стоял уже на коленях перед ней: — I ! Милая!

Тихо. Только в белую чашку умывальника из крана каплет вода, торопливо. Не могу сейчас объяснить, почему, но только это было мне неприятно: я крепко завернул кран и вышел. Тут ее — нет: ясно. И, значит, она в какой-нибудь другой «квартире».

По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потянул одну дверь, другую, третью: заперто. Все было заперто, кроме только той одной «нашей» квартиры, и там — никого...

И все-таки — опять туда, сам не знаю — зачем. Я шел медленно, с трудом — подошвы вдруг стали чугунными. Помню отчетливо мысль: «Это ошибка, что сила тяжести — константна. Следовательно, все мои формулы — —».

Тут — разрыв: в самом низу хлопнула дверь, кто-то быстро протопал по плитам. Я — снова легкий, легчайший — бросился к перилам — перегнуться, в одном слове, в одном крике «Ты!» — выкрикнуть все...

И захолонул: внизу — вписанная в темный квадрат тени от оконного переплета, размахивая розовыми крыльями — ушами, неслась голова S.

Молнией — один только голый вывод, без посылок (посылок я не знаю и сейчас): «Нельзя — ни за что — чтобы он меня увидел».

И на цыпочках, вжимаясь в стену — я скользнул вверх — к той незапертой квартире.

На секунду у двери. Тот — тупо топает вверх, сюда. Только бы дверь! Я умолял дверь, но она деревянная: заскрипела, взвизгнула. Вихрем мимо — зеленое, красное, желтый Будда — я перед зеркальной дверью шкафа: мое бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы... Я слышу — сквозь шум крови — опять скрипит дверь... Это он, он.

Я ухватился за ключ в двери шкафа — и вот коль-

цо покачивается. Это что-то напоминает мне — опять мгновенный, голый, без посылок, вывод — вернее, осколок: «В тот раз I — —». Я быстро открываю дверь в шкаф — я внутри, в темноте — захлопываю ее плотно. Один шаг — под ногами качнулось. Я медленно, мягко поплыл куда-то вниз, в глазах потемнело, я умер.

Позже, когда мне пришлось записывать все эти странные происшествия, я порылся в памяти, в книгах — и теперь я, конечно, понимаю: это было состояние временной смерти, знакомое древним и — сколько я знаю — совершенно неизвестное у нас.

Не имею представления, как долго я был мертв, скорее всего 5-10 секунд, но только через некоторое время я воскрес, открыл глаза: темно и чувствую — вниз, вниз... Протянул руку — ухватился — царапнула шершавая, быстро убегающая стенка, на пальце кровь, ясно — все это не игра моей больной фантазии. Но что же, что?

Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание (мне стыдно сознаться в этом — так все было неожиданно и непонятно). Минута, две, три — все вниз. Наконец — мягкий толчек: то, что падало у меня под ногами — теперь неподвижно. В темноте я нашарил какую-то ручку, толкнул — открылась дверь — тусклый свет. Увидел: сзади меня быстро уносилась вверх небольшая квадратная платформа. Кинулся — но уже было поздно: я был отрезан здесь... где это «здесь» — не знаю.

Коридор. Тысячепудовая тишина. На круглых сводах — лампочки, бесконечный, мерцающий, дрожащий пунктир. Походило немного на «трубы» наших подземных дорог, но только гораздо уже и не из нашего стекла, а из какого-то другого старинного материала. Мелькнуло — о подземельях, где, будто бы

спасались во время Двухсотлетней Войны... Все равно: надо идти.

Шел, полагаю, минут двадцать. Свернул направо, коридор шире, лампочки ярче. Какой-то смутный гул. Может быть, машины, может быть, голоса — не знаю, но только я — возле тяжелой непрозрачной двери: гул оттуда.

Постучал, еще раз — громче. За дверью — затихло. Что-то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась.

Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше — передо мной был мой лезвиеносный, тончайший доктор.

— Вы? Здесь? — И ножницы его так и захлопнулись. А я — я будто никогда и не знал ни одного человеческого слова: я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он говорил мне. Должно быть — что мне надо уйти отсюда; потому что потом он быстро своим плоским бумажным животом оттеснил меня до конца этой, более светлой части коридора — и толкнул в спину.

— Позвольте... я хотел... я думал, что она, I-330... Но за мной...

— Стойте тут, — отрезал доктор и исчез...

Наконец! Наконец, она рядом, здесь — и не всё ли равно, где это «здесь». Знакомый, шафранно-желтый шелк, улыбка-укус, задернутые шторой глаза... У меня дрожат губы, руки, колени — а в голове глупейшая мысль:

«Колебания — звук. Дрожь должна звучать. Отчего же не слышно?».

Ее глаза раскрылись мне — настежь, я вошел внутрь...

— Я не мог больше! Где вы были? Отчего, — ни на секунду не отрывая от нее глаз, я говорил, как в бреду — быстро, несвязно — может быть, даже толь-

ко думал. — Тень — за мною... Я умер — из шкафа... Потому что этот ваш... говорит ножницами: у меня душа... Неизлечимая...

— Неизлечимая душа! Бедненький мой! — I рассмеялась — и меня сбрызнула смехом: весь бред прошел, и всюду сверкают, звенят смешинки и как — как все хорошо.

Из-за угла снова вывернулся доктор — чудесный, великолепный, тончайший доктор.

— Ну-с, — остановился он возле нее.

— Ничего, ничего! Я вам потом расскажу. Он случайно... Скажите, что я вернусь через... минут пятнадцать...

Доктор мелькнул за угол. Она ждала. Глухо стукнула дверь. Тогда I медленно, медленно, все глубже вонзая мне в сердце острую, сладкую иглу — прижалась плечом, рукою, вся — и мы пошли вместе с нею, вместе с нею — двое — одно...

Не помню, где мы свернули в темноту — и в темноте по ступеням вверх, без конца, молча. Я не видел, но знал: она шла так же, как и я — с закрытыми глазами, слепая, закинув вверх голову, закусив губы — и слушала музыку: мою чуть слышную дрожь.

Я очнулся в одном из бесчисленных закоулков во дворе Древнего Дома: какой-то забор, из земли — голые, каменистые ребра и желтые зубы развалившихся стен. Она открыла глаза, сказала: «Послезавтра в 16». Ушла.

Было ли все это на самом деле? Не знаю. Узнаю послезавтра. Реальный след только один: на правой руке — на концах пальцев — содрана кожа. Но сегодня на «И н т е г р а л е» Второй Строитель уверял меня, будто он сам видел, как я случайно тронул этими пальцами шлифовальное кольцо — в этом и все дело. Что ж, может быть, и так. Очень может быть. Не знаю — ничего не знаю.

Запись 18-ая.
Конспект:

ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕБРИ. РАНЫ И ПЛАСТЫРЬ. БОЛЬШЕ НИКОГДА.

Вчера лег — и тотчас же канул на сонное дно, как перевернувшийся, слишком загруженный корабль. Толща глухой колыхающейся зеленой воды. И вот медленно всплываю со дна вверх и где-то на средине глубины открываю глаза: моя комната, еще зеленое, застывшее утро. На зеркальной двери шкафа — осколок солнца — в глаза мне. Это мешает в точности выполнить установленные Скрижалью часы сна. Лучше бы всего — открыть шкаф. Но я весь — как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать...

Все-таки встал, открыл — и вдруг за зеркальной дверью, выпутываясь из платья, вся розовая — I. Я так привык теперь к самому невероятному, что сколько помню — даже совершенно не удивился, ни о чем не спросил: скорей в шкаф, захлопнул за собою зеркальную дверь — и задыхаясь, быстро, слепо, жадно соединился с I. Как сейчас вижу: сквозь дверную щель в темноте — острый солнечный луч переламывается молнией на полу, на стенке шкафа, выше — и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую, обнаженную шею I... и в этом для меня такое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул — и еще раз открыл глаза.

Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я — в кровати. Сон. Но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев, в коленях. Это — несомненно было. И я не знаю теперь: что сон — что явь; иррациональные величины прорастают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых, шлифованных плоскостей — кругом что-то корявое, лохматое...

До звонка еще далеко. Я лежу, думаю — и разматывается чрезвычайно странная, логическая цепь.

Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего $\sqrt{-1}$, мы не знаем соответствующих тел, мы никогда не видели их... Но в том-то и ужас, что эти тела — невидимые — есть, они непременно, неминуемо должны быть: потому что в математике, как на экране, проходят перед нами их причудливые, колючие тени — иррациональные формулы; и математика и смерть — никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности, для них есть — неизбежно должен быть — целый огромный мир там, за поверхностью...

Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика — до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни — тоже оторвалась, поплыла, закружилась. Что же, значит, эта нелепая «душа» — так же реальна, как моя юнифа, как мои сапоги — хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной дверью шкафа)? И если сапоги не болезнь — почему же «душа» болезнь?

Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые и жуткие дебри, как те — за Зеленой Стеной — и они также были необычайными, непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось — сквозь какое-то толстое стекло — я вижу: бесконечно огромное, и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом: $\sqrt{-1}$... А, может быть, это — не что иное, как моя «душа», подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалящая себя всем тем, что...

Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая —

только прикрыто дневным светом; как видимые предметы, не умирая — к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове — легкий, зыбкий туман. Сквозь туман — длинные, стеклянные столы; медленно, молча, в такт жующие шаро-головы. Издалека, сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно-ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти: пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок. И, машинально отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих — как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной — мой мир...

Но вот что: если этот мир — только мой, зачем же он в этих записях? Зачем здесь эти нелепые «сны», шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строгой математической поэмы в честь Единого Государства — у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы и в самом деле это был только роман, а не теперешняя моя, исполненная иксов, $\sqrt{-1}$ и падений, жизнь.

Впрочем — может быть, все к лучшему. Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели — дети по сравнению с нами (ведь мы взрощены Единым Государством — следовательно, достигли высочайших, возможных для человека вершин). И как дети — только тогда вы без крика проглотите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщательно обложено густым приключенческим сиропом...

ВЕЧЕРОМ:

Знакомо ли вам это чувство: когда на аэро мчишься ввысь по синей спирали, окно открыто, в лицо

свистит вихрь — земли нет, о земле забываешь, земля так же далеко от вас, как Сатурн, Юпитер, Венера? Так я живу теперь, в лицо — вихрь, и я забыл о земле, я забыл о милой, розовой О. Но все же земля существует, раньше или позже — надо спланировать на нее и я только закрываю глаза перед тем днем, где на моей Сексуальной Табели стоит ее имя — имя О-90...

Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе.

Чтобы выполнить предписание доктора (я искренне, искренне хочу выздороветь) — я целых два часа бродил по стеклянным, прямолинейным пустыням проспектов. Все, согласно Скрижали, были в аудиториумах, и только я один... Это было, в сущности, противоестественное зрелище: вообразите себе человеческий палец, отрезанный от целого, от руки — отдельный человеческий палец, сутуло согнувшись, припрыгивая бежит по стеклянному тротуару. Этот палец — я. И страннее, противоестественнее всего, что пальцу вовсе не хочется быть на руке, быть с другими: или — вот так, одному, или... Ну да, мне уж больше нечего скрывать: или вдвоем с нею — с той, опять так же переливая в нее всего себя сквозь плечо, сквозь сплетенные пальцы рук...

Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечерний розовый пепел — на стекле стен, на золоте шпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных нумеров. Не странно ли: потухающие солнечные лучи падают под тем же точно углом, что и загорающиеся утром, а все — совершенно иное, иная эта розовость — сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром — опять будет звонкая, шипучая.

И вот внизу, в вестибюле, из-под груды покрытых розовым пеплом конвертов — Ю, контролерша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю: это — очень почтенная женщина, и я уверен — у нее наилучшие чувства ко мне.

И все же, всякий раз, как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбьи жабры щеки — мне почему-то неприятно.

Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо — Ю вздохнула. Но этот вздох только чуть колыхнул ту занавесь, какая отделяла меня от мира: я весь целиком спроектирован был на дрожавший в моих руках конверт, где — я не сомневался — письмо от I.

Здесь — второй вздох, настолько явно, двумя чертами подчеркнутый, что я оторвался от конверта — и увидел: между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз — нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем:

— Бедный вы, бедный, — вздох с тремя чертами и кивок на письмо, чуть приметный (содержание письма она, по обязанности, — естественно знала).

— Нет, право я... Почему же?

— Нет, нет, дорогой мой: я знаю вас лучше, чем вы сами. Я уж давно приглядываюсь к вам — и вижу: нужно, чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь уж долгие годы изучавший жизнь...

Я чувствую: весь облеплен ее улыбкой — это пластырь на те раны, какими сейчас покроет меня это дрожащее в моих руках письмо. И наконец — сквозь стыдливые жалюзи — совсем тихо:

— Я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны: если я почувствую в себе достаточно силы — нет-нет, я сначала еще должна подумать...

Благодетель великий! Неужели мне суждено... неужели она хочет сказать, что — —

В глазах у меня — рябь, тысячи синусоид, письмо прыгает. Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солнце, и оттуда — на меня, на пол, на мои руки, на письмо все гуще темно-розовый, печальный пепел.

Конверт взорван — скорее подпись — и рана —

это не I, не I, это... О. И еще рана: на листочке снизу, в правом углу — расплывшаяся клякса, — сюда капнуло... Я не выношу клякс — все равно: от чернил они или от... все равно от чего. И знаю — раньше — мне было бы просто неприятно, неприятно глазам — от этого неприятного пятна. Но почему же теперь это серенькое пятнышко — как туча, и от него — все свинцовее и все темнее? Или это опять — «душа»?

ПИСЬМО:

«Вы знаете... или, может быть, вы не знаете — я не могу как следует писать — все равно: сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что R для меня только... ну, да это не важно вам. Я ему во всяком случае, очень благодарна: одна без него, эти дни — я бы не знаю что... За эти дни и ночи я прожила десять или, может быть, двадцать лет. И будто комната у меня — не четырехугольная, а круглая, и без конца — кругом, кругом, и все одно и то же, и нигде никаких дверей.

Я не могу без вас — потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю: вам теперь никто, никто на свете не нужен, кроме той, другой, и — понимаете: именно, если я вас люблю, я должна — —

Мне нужно еще только два-три дня, чтобы из кусочков меня кой-как склеить хоть чуть похожее на прежнюю О-90 — и я пойду, и сделаю сама заявление, что снимаю свою запись на вас, и вам должно быть лучше, вам должно быть хорошо. Больше никогда не буду, простите.

О».

Больше никогда. Так, конечно, лучше: она права. Но отчего же, отчего — —

Запись 19-ая.
Конспект:

БЕСКОНЕЧНО-МАЛАЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА. ИСПОДЛОБНЫЙ. ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ.

Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек... или нет, нет — не там: позже, когда мы уже были с нею в каком-то затерянном уголке на дворе Древнего Дома — она сказала: «послезавтра». Это «послезавтра» — сегодня, и все — на крыльях, день — летит, и наш «И н т е г р а л» уже крылатый: на нем кончили установку ракетного двигателя, и сегодня пробовали его в холостую. Какие великолепные, могучие залпы, и для меня, каждый из них — салют в честь той, единственной, в честь сегодня.

При первом ходе (= выстреле) под дулом двигателя оказался с десяток зазевавшихся нумеров из нашего эллинга — от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи. С гордостью записываю здесь, что ритм нашей работы не споткнулся от этого ни на секунду, никто не вздрогнул; и мы и наши станки — продолжали свое прямолинейное и круговое движение все с той же точностью, как будто бы ничего не случилось. Десять нумеров — это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах — это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически-безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна.

И мне смешно, что вчера я мог задумываться — и даже записывать на эти страницы — о каком-то жалком сереньком пятнышке, о какой-то кляксе. Это — все то же самое «размягчение поверхности», которая должна быть алмазно-тверда — как наши стены (древняя поговорка: «как об стену горох»).

Шестнадцать часов. На дополнительную прогул-

ку я не пошел: как знать, быть может, ей вздумается именно сейчас, когда все звенит от солнца...

Я — почти один в доме. Сквозь просолнеченные стены — мне далеко видно вправо и влево и вниз — повисшие в воздухе, пустые, зеркально повторяющие одна другую комнаты. И только по голубоватой, чуть прочерненной солнечной тушью лестнице — медленно скользит вверх тощая, серая тень. Вот уже слышны шаги — и я вижу сквозь дверь — я чувствую: ко мне прилеплена пластырь-улыбка — и затем мимо, по другой лестнице — вниз...

Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез — и... и какой-то незнакомый мне мужской (с согласной буквой) нумер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо мною — небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза... очень странное впечатление: как будто он говорил оттуда, исподлобья, где глаза.

— Вам от нее письмо (— исподлобья, из-под навеса)... Просила, чтобы непременно — все, как там сказано.

Исподлобья, из-под навеса — кругом. Да никого, никого нет, ну, давай же! Еще раз оглянувшись, он сунул мне конверт, ушел. Я один.

Нет не один: из конверта — розовый талон, и — чуть приметный — ее запах. Это она, она придет, придет ко мне. Скорее — письмо, чтобы прочитать это своими глазами, чтобы поверить в это до конца...

Что? Не может быть! Я читаю еще раз — перепрыгиваю через строчки: «Талон... и непременно спустите шторы, как будто я и в самом деле у вас... Мне необходимо, чтобы думали, что я... мне очень, очень жаль...»

Письмо — в клочья. В зеркале на секунду — мои исковерканные, сломанные брови. Я беру талон, чтобы и его так же, как ее записку — —

— «Просила, чтоб непременно все, как там сказано».

Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них на стол. Она — сильнее меня, и я, кажется, сделаю так, как она хочет. А впрочем... впрочем не знаю: увидим — до вечера еще далеко... Талон лежит на столе.

В зеркале мои исковерканные, сломанные брови. Отчего и на сегодня у меня нет докторского свидетельства: пойти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой Стены — и потом свалиться в кровать — на дно... А я должен — в 13-й аудиториум, я должен накрепко завинтить всего себя, чтобы два часа — два часа, не шевелясь... когда надо кричать, топать.

Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппарата — не металлический, как обычно, а какой-то мягкий, мохнатый, моховой голос. Женский — мне мелькает она такою, какою когда-то жила: маленькая — крючечек старушка, вроде той — у Древнего Дома.

Древний Дом... и все сразу — фонтаном — снизу, и мне нужно изо всех сил завинтить себя, чтобы не затопить криком весь аудиториум. Мягкие, мохнатые слова — сквозь меня, и от всего остается только одно: что-то — о детях, о детоводстве. Я, как фотографическая пластинка: все отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью: золотой серп — световой отблеск на громкоговорителе; под ним — ребенок, живая иллюстрация — тянется к сердцу; засунут в рот подол микроскопической юнифы; крепко стиснутый кулачек, большой (вернее — очень маленький) палец зажат внутрь — легкая, пухлая тень — складочка на запястьи. Как фотографическая пластинка — я отпечатываю: вот теперь голая нога — перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух — вот сейчас, сейчас об пол — —

И — женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными крыльями юнифа, подхватила ребенка — губами — в пухлую складочку на запястьи, сдвинула на середину стола, спускается с эстрады. Во мне печатается: розовый — рожками книзу — полумесяц рта, налитые до краев синие блюдечки-глаза. Это — О. И я, как при чтении какой-нибудь стройной формулы — вдруг ощущаю необходимость, закономерность этого ничтожного случая.

Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся; она послушно отвела глаза от стола с ребенком, глазами — в меня, во мне, и опять: она, я и стол на эстраде — три точки, и через эти точки — прочерчены линии, проекции каких-то неминуемых, еще невидимых событий.

Домой — по зеленой, сумеречной, уже глазастой от огней улице. Я слышал: весь тикаю — как часы. И стрелки во мне — сейчас перешагнут через какую-то цифру, я сделаю что-то такое, что уже нельзя будет назад. Ей нужно, чтобы кто-то там думал: она — у меня. А мне нужна она, и что мне за дело до ее «нужно». Я не хочу быть чужими шторами — не хочу и все.

Сзади — знакомая, плюхающая, как по лужам, походка. Я уже не оглядываюсь, знаю: S. Пойдет за мною до самых дверей — и потом, наверное, будет стоять внизу, на тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в мою комнату — пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы...

Он, Ангел-Хранитель, поставил точку. Я решил: нет. Я решил.

Когда я поднялся в комнату и повернул выключатель — я не поверил глазам: возле моего стола стояла О. Или, вернее — висела: так висит пустое, снятое платье — под платьем у нее как будто уж не бы-

ло ни одной пружины, беспружинными были руки, ноги, беспружинный, висячий голос.

— Я — о своем письме. Вы получили его? Да? Мне нужно знать ответ, мне нужно — сегодня же.

Я пожал плечами. Я с наслаждением — как будто она была во всем виновата — смотрел на ее синие, полные до краев глаза — медлил с ответом. И, с наслаждением, втыкая в нее по одному слову, сказал:

— Ответ? Что ж... Вы правы. Безусловно. Во всем.

— Так значит... (— улыбкою прикрыта мельчайшая дрожь, но я вижу). Ну, очень хорошо! Я сейчас — я сейчас уйду.

И висела над столом. Опущенные глаза, ноги, руки. На столе еще лежит скомканный розовый талон той. Я быстро развернул эту свою рукопись — «МЫ» — ее страницами прикрыл талон (быть может, больше от самого себя, чем от О).

— Вот — все пишу. Уже 170 страниц... Выходит такое что-то неожиданное...

Голос — тень голоса:

— А помните... я вам тогда на седьмой странице... Я вам тогда капнула — и вы...

Синие блюдечки — через край, неслышные, торопливые капли — по щекам, вниз, торопливые через край — слова:

— Я не могу, я сейчас уйду... я никогда больше, и пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — оставьте мне ребенка и я уйду, я уйду!

Я видел: она вся дрожала под юнифой, и чувствовал: я тоже сейчас — — Я заложил назад руки, улыбнулся:

— Что? Захотелось Машины Благодетеля?

И на меня — все так же, ручьями через плотины — слова:

— Пусть! Но ведь я же почувствую — я почувствую его в себе. И хоть несколько дней... Увидеть — только раз увидеть у него складочку вот тут— как там — как на столе. Один день!

Три точки: она, я — и там на столе кулачек с пухлой складочкой...

Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуляторную башню. На самом верхнем пролете я перегнулся через стеклянный парапет, внизу — точки-люди, и сладко тикнуло сердце: «А что если?». Тогда я только еще крепче схватился за поручни; теперь — я прыгнул вниз.

— Так вы хотите? Совершенно сознавая, что...

Закрытые — как будто прямо в лицо солнцу — глаза. Мокрая, сияющая улыбка.

— Да, да! Хочу!

Я выхватил из под рукописи розовый талон — т о й — и побежал вниз, к дежурному. О схватила меня за руку, что-то крикнула, но что — я понял только потом, когда вернулся.

Она сидела на краю постели, руки крепко зажаты в коленях.

— Это... это ее талон?

— Не все ли равно. Ну — ее, да.

Что-то хрустнуло. Скорее всего — О просто шевельнулась. Сидела, руки в коленях, молчала.

— Ну? Скорее... — я грубо стиснул ей руку и красные пятна (завтра — синяки) у ней на запястьи, там — где пухлая детская складочка.

Это — последнее. Затем — повернут выключатель, мысли гаснут, тьма, искры — и я через парапет вниз...

Запись 20-ая.
Конспект:

РАЗРЯД. МАТЕРИАЛ ИДЕИ. НУЛЕВОЙ УТЕС.

Разряд — самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно, как электрический разряд. Пульс моих последних дней становится все суше, все чаще, все напряженней — полюсы все ближе — сухое потрескивание — еще миллиметр: взрыв, потом — тишина.

Во мне теперь очень тихо и пусто — как в доме, когда все ушли и лежишь один, больной, и так ясно слышишь отчетливое, металлическое постукивание мыслей.

Быть может, этот «разряд» излечил меня, наконец, от моей мучительной «души» — и я снова стал, как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу О на ступенях Куба, вижу ее в Газовом Колоколе. И если там, в Операционном, она назовет мое имя — пусть: в последний момент — я набожно и благодарно лобызну карающую руку Благодетеля. У меня по отношению к Единому Государству есть это право — понести кару, и этого права я не уступлю. Никто из нас, нумеров, не должен, не смеет отказаться, от этого единственного своего — и тем ценнейшего — права.

...Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли; неведомый аэро уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций. И я вижу, как здесь — в чистейшем, разреженном воздухе — с легким треском, как пневматическая шина — лопается мое рассуждение «о действенном праве». И я вижу ясно, что это только отрыжка нелепого предрассудка древних — их идеи о «праве».

Есть идеи глиняные — и есть идеи навеки изваян-

ные из золота или драгоценного нашего стекла. И, чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильно-действующей кислотой. Одну из таких кислот знали и древние: reductio ad finem. Кажется, это называлось у них так; но они боялись этого яда, они предпочитали видеть хоть какое-нибудь, хоть глиняное, хоть игрушечное небо, чем синее ничто. Мы же — слава Благодетелю, — взрослые, и игрушки нам не нужны.

Так вот — если капнуть на идею «права». Даже у древних — наиболее взрослые знали: источник права — сила, право — функция от силы. И вот — две чашки весов: на одной грамм, на другой — тонна, на одной — «я», на другой — «Мы», Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству и допускать, что грамм может уравновесить тонну — это совершенно одно и то-же. Отсюда — распределение: тонне — права, грамму — обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты — грамм и почувствовать себя миллионной долей тонны...

Вы, пышнотелые, румяные венеряне, вы закопченные, как кузнецы, ураниты — я слышу в своей синей тишине ваш ропот. Но поймите же вы: все великое — просто; поймите же: незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной — пребудет только мораль, построенная на четырех правилах. Это — последняя мудрость, это — вершина той пирамиды, на которую люди — красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались веками. И с этой вершины — там, на дне, где ничтожными червями еще копошится нечто, уцелевшее в нас от дикости предков — с этой вершины одинаковы: и противозаконная мать — О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в Единое

Государство; и одинаков для них суд: довременная смерть. Это — то самое божественное правосудие, о каком мечтали каменнодомовые люди, освещенные розовыми наивными лучами утра истории: их «Бог» — хулу на Святую Церковь — карал так же, как убийство.

Вы, ураниты — суровые и черные, как древние испанцы, мудро умевшие сжигать на кострах — вы молчите, мне кажется, вы — со мною. Но я слышу: розовые венеряне — что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским временам. Дорогие мои: мне жаль вас — вы не способны философски-математически мыслить.

Человеческая история идет вверх кругами — как аэро. Круги разные — золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля — вперед: 10, 20, 200 360 градусов — опять нуль. Да, мы вернулись к нулю, — да. Но для моего, математически-мыслящего ума, ясно: нуль — совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо — мы вернулись к нулю слева и потому: вместо плюса нуль — у нас минус нуль. Понимаете?

Этот Нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож, утесом. В свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы отчалили от черной ночной стороны Нулевого Утеса. Века — мы, Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура! Салют — и все на мачты: перед нами — другой, дотоле неведомый бок Нулевого Утеса, озаренный полярным сиянием Единого Государства, голубая глыба, искры радуги, солнца — сотни солнц, миллиарды радуг...

Что из того, что лишь толщиною ножа отделены мы от другой черной стороны Нулевого Утеса. Нож — самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного человеком. Нож — был

гильотиной, нож — универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь парадоксов — единственно достойный бесстрашного ума путь...

Запись 21-ая.
Конспект:

АВТОРСКИЙ ДОЛГ. ЛЕД НАБУХАЕТ. САМАЯ ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ.

Вчера был ее день, а она — опять не пришла, и опять от нее — невнятная, ничего неразъясняющая записка. Но я спокоен, совершенно спокоен. Если я все же поступаю так, как это продиктовано в записке, если я все же отношу к дежурному ее талон и затем, опустив шторы, сижу у себя в комнате один — так это разумеется не потому, чтобы я был не в силах идти против ее желания. Смешно! Конечно, нет. Просто — отделенный шторами от всех пластыре-целительных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы, это первое. И второе: в ней, в I, я боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскрытию всех неизвестных (история со шкафом, моя временная смерть и так далее). А раскрыть их — я теперь чувствую себя обязанным, просто даже как автор этих записей, не говоря уже о том, что вообще неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens — только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные, запятые и точки.

И вот, руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом, сегодня в 16 я взял аэро и снова отправился в Древний Дом. Был сильный встречный

ветер. Аэро с трудом продирался сквозь воздушную чащу, прозрачные ветви свистели и хлестали. Город внизу — весь будто из голубых глыб льда. Вдруг — облако, быстрая косая тень, лед свинцовеет, набухает, как весной, когда стоишь на берегу и ждешь: вот сейчас все треснет, хлынет, закрутится, понесет; но минута за минутой, а лед все стоит, и сам набухаешь, сердце бьется все беспокойней, все чаще (впрочем, зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения. Потому что ведь нет такого ледокола, какой мог бы взломать прозрачнейший и прочнейший хрусталь нашей жизни...).

У входа в Древний Дом — никого. Я обошел кругом и увидел старуху-привратницу возле Зеленой Стены: приставила козырьком руку, глядит вверх. Там над стеной — острые, черные треугольники каких-то птиц: с карканием бросаются на приступ — грудью о прочную ограду из электрических волн — и назад, и снова над Стеною.

Я вижу: по темному, заросшему морщинами лицу — косые, быстрые тени, быстрый взгляд на меня.

— Никого, никого, никого нету! Да! И ходить незачем. Да...

То есть, как это незачем? И что это за странная манера — считать меня только чьей-то тенью. А, может быть, сами вы все — мои тени. Разве я не населил вами эти страницы — еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк?

Всего этого я, разумеется, не сказал ей; по собственному опыту я знаю: самое мучительное — это заронить в человека сомнение в том, что он — реальность, трехмерная — а не какая-либо иная — реальность. Я только сухо заметил ей, что ее дело открывать дверь, и она впустила меня во двор.

Пусто. Тихо. Ветер — там, за стенами, далекий,

как тот день, когда мы плечом к плечу, двое-одно, вышли снизу, из коридоров — если только это действительно было. Я шел под какими-то каменными арками, где шаги, ударившись о сырые своды, падали позади меня, — будто все время другой шагал за мной по пятам. Желтые — с красными кирпичными прыщами — стены следили за мной сквозь темные квадратные очки окон, следили, как я открывал певучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и пустырь — памятник Великой Двухсотлетней Войны: из земли — голые каменные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы — навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных всплесков.

Показалось: именно эти желтые зубы я уже видел однажды — неясно, как на дне, сквозь толщу воды — и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в глаза, остро-соленые капли пота...

Нигде! Тогдашнего выхода снизу из коридоров я нигде не мог найти — его не было. А впрочем — так, может быть, и лучше: больше вероятия, что все это — был один из моих нелепых «снов».

Усталый, весь в какой-то паутине, в пыли — я уже открыл калитку — вернуться на главный двор. Вдруг сзади — шорох, хлюпающие шаги и передо мною — розовые крылья-уши, двоякоизогнутая улыбка S.

Он, прищурившись, ввинтил в меня свои буравчики и спросил:

— Прогуливаетесь?

Я молчал. Руки мешали.

— Ну, что же, теперь лучше себя чувствуете?

— Да, благодарю вас. Кажется, прихожу в норму.

Он отпустил меня — поднял глаза вверх. Голова запрокинута — и я в первый раз заметил его кадык.

Вверху невысоко — метрах в 50 — жужжали аэро. По их медленному низкому лету, по спущенным вниз

черным хоботам наблюдательных труб — я узнал аппараты Хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от десяти до двенадцати (к сожалению, должен ограничиться приблизительной цифрой).

— Отчего их так сегодня много? — взял я на себя смелость спросить.

— Отчего? Гм... Настоящий врач — начинает лечить еще здорового человека, такого, какой заболеет еще только завтра, после завтра, через неделю. Профилактика, да!

Он кивнул, заплюхал по каменным плитам двора. Потом обернулся — и через плечо мне:

— Будьте осторожны!

Я один. Тихо Пусто. Далеко над Зеленой Стеной мечутся птицы, ветер. Что он этим хотел сказать?

Аэро быстро скользит по течению. Легкие, тяжелые тени от облаков, внизу — голубые купола, кубы из стеклянного льда — свинцевеют, набухают...

ВЕЧЕРОМ:

Я раскрыл свою рукопись, чтобы занести на эти страницы несколько, как мне кажется полезных (для вас, читатели) мыслей о великом дне Единогласия — этот день уже близок. И увидел: не могу сейчас писать. Все время вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стекло стен, все время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И когда в комнате у меня появились знакомые коричневато-розовые жабры — я был очень рад, говорю чистосердечно. Она села, целомудренно оправила запавшую между колен складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками — по кусочку на каждую из моих трещин — и я почувствовал себя приятно, крепко связанным.

— Понимаете, прихожу сегодня в класс (— она работает на Детско-воспитательном Заводе) — и на

стене карикатура. Да, да, уверяю вас! Они изобразили меня в каком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле...

— Нет, нет, что вы, — поторопился я сказать (вблизи, в самом деле, ясно, что ничего похожего на жабры нет, и у меня о жабрах — это было совершенно неуместно).

— Да, в конце концов — это и не важно. Но, понимаете: самый поступок. Я, конечно, вызвала Хранителей. Я очень люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая любовь — это жестокость, — вы понимаете?

Еще бы! Это так пересекалось с моими мыслями. Я не утерпел и прочитал ей отрывок из своей 20-ой записи, начиная отсюда: «Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли...»

Не глядя, я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щеки и они двигаются ко мне все ближе, и вот в моих руках — сухие, твердые, даже слегка покалывающие пальцы.

— Дайте — дайте это мне! Я сфонографирую это и заставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько вашим венерянам, сколько нам, нам — сейчас, завтра, послезавтра.

Она оглянулась — и совсем тихо:

— Вы слышали: говорят, что в День Единогласия...

Я вскочил:

— Что — что говорят? Что — в День Единогласия?

Уютных стен уже не было. Я мгновенно почувствовал себя выброшенным туда, наружу, где над крышами метался огромный ветер, и косые сумеречные облака — все ниже...

Ю обхватила меня за плечи решительно, твердо

(хотя я заметил: резонируя мое волнение — косточки ее пальцев дрожали).

— Сядьте, дорогой, не волнуйтесь. Мало ли что говорят... И потом: если только вам это нужно — в этот день я буду около вас, я оставлю своих детей из школы на кого-нибудь другого — и буду с вами, потому что ведь вы, дорогой, вы — тоже дитя, и вам нужно...

— Нет, нет, — замахал я, — ни за что! Тогда вы в самом деле будете думать, что я какой-то ребенок — что я один не могу... Ни за что! (— сознаюсь: у меня были другие планы относительно этого дня).

Она улыбнулась; неписанный текст улыбки, очевидно, был: «Ах, какой упрямый мальчик!». Потом села. Глаза опущены. Руки стыдливо оправляют снова запавшую между колен складку юнифы — и теперь о другом:

— Я думаю, что я должна решиться... ради вас... Нет, умоляю вас: не торопите меня, я еще должна подумать...

Я не торопил. Хотя и понимал, что должен быть счастлив и что нет большей чести, чем увенчать собою чьи-нибудь вечерние годы.

... Всю ночь — какие-то крылья, и я хожу и закрываю голову руками от крыльев. А потом — стул. Но стул — не наш, теперешний, а древнего образца, из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь (правая передняя — и левая задняя, левая передняя и правая задняя), стул подбегает к моей кровати, влезает на нее — и я люблю деревянный стул: неудобно, больно.

Удивительно: неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сноболезнь или сделать ее разумной — может быть, даже полезной.

Запись 22-ая.
Конспект:

ОЦЕПЕНЕВШИЕ ВОЛНЫ. ВСЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. Я — МИКРОБ.

Вы представьте себе, что стоите на берегу: волны —мерно вверх; и поднявшись — вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это — когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась наша, предписанная Скрижалью, прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чащу прогулки, со свистом и дымом, свалился с неба метеорит.

Мы шли так, как всегда, т. е. так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов — две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта — там, где грозно гудела аккумулирующая башня — навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади — стража; в середине трое, на юнифах этих людей — уже нет золотых нумеров — и все до жути ясно.

Огромный циферблат на вершине башни — это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут — в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и на виске — путанный переплет голубых жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира, и этот неведомый мир — видимо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нем синеватой искрой электрического кнута; он тонко, по-ще-

нячьи, взвизгнул. И затем — четкий щелк, приблизительно каждые 2 секунды — и взвизг, щелк — взвизг.

Мы попрежнему, мерно, ассирийски шли — и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал: «Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется — и должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут — и сколько красоты...»

Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упруго-гибкая женская фигура и с криком: «Довольно! Не сметь», — бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было — как метеор — 119 лет назад: вся прогулка застыла и наши ряды — серые гребни скованных внезапным морозом волн.

Секунду я смотрел на нее посторонне, как и все: она уже не была нумером — она была только человеком, она существовала только, как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного Единому Государству. Но одно какое-то ее движение — заворачивая, она согнула бедра налево — и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое как хлыст, тело — мои глаза, мои губы, мои руки знают его — в тот момент я был в этом совершенно уверен.

Двое из стражи — наперерез ей. Сейчас — в пока еще ясной, зеркальной точке мостовой — их траектории пересекутся — сейчас ее схватят... Сердце у меня глотнуло, остановилось — и не рассуждая: можно, нельзя, нелепо, разумно — я кинулся в эту точку...

Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно веселой силы тому дикому, волосато-рукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она обернулась —

Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками, лицо, рыжие брови... Не она! не I.

Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то вроде: «Так ее!» «Держи ее!», — но слышу только свой шопот. А на плече у меня — уже тяжелая рука, меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им...

— Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я думал, что это...

Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, записанную на этих страницах. И я потухаю, покорно иду... Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, покорно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за каждую знакомую ветку, развилку, сучек: так я цеплялся за каждую из безмолвных шаров-голов, за прозрачный лед стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни.

В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел: невдалеке, размахивая розовыми руками-крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая, громадная голова. И знакомый, сплющенный голос:

— Я считаю долгом засвидетельствовать, что нумер Д-503 — болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он увлечен был естественным негодованием...

— Да, да, — ухватился я. — Я даже крикнул: держи ее!

Сзади, за плечами:

— Вы ничего не кричали.

— Да, но я хотел — клянусь Благодетелем, я хотел.

Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти) правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня, — и

я снова свободен, т. е., вернее, снова заключен в стройные, бесконечные, ассирийские ряды.

Четырехугольник, и в нем веснушчатое лицо и висок с географической картой голубых жилок — скрылись за углом, навеки. Мы идем — одно миллионноголовое тело, и в каждом из нас — та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире — это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: смирение — добродетель, а гордыня — порок, и что — «МЫ» — от Бога, а «Я» — от диавола.

Вот я — сейчас в ногу со всеми — и все-таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь.

Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов (с голубым виском и веснушчатых): я, быть может, микроб, и, может быть, их — уже тысяча среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами...

Что если сегодняшнее, в сущности, маловажное происшествие — что если все это только начало, только первый метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, высыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай?

Запись 23-ья.
Конспект:

ЦВЕТЫ. РАСТВОРЕНИЕ КРИСТАЛЛА. ЕСЛИ ТОЛЬКО.

Говорят, есть цветы, которые распускаются только раз в сто лет. Отчего же не быть и таким, какие цветут раз в тысячу — в десять тысяч лет. Может быть, об этом до сих пор мы не знали только потому, что именно сегодня пришло это раз-в-тысячу-лет.

И вот, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз, к дежурному, и быстро у меня на глазах, всюду кругом неслышно лопаются тысячелетние почки и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, оброненный на ступенях платок, столик дежурного, над столиком — нежно-коричневые, с крапинками щеки Ю. Все — необычайное, новое, нежное, розовое, влажное.

Ю берет у меня розовый талон, а над головой у ней — сквозь стекло стены — свешивается с невиданной ветки луна, голубая, пахучая. Я с торжеством показываю пальцем и говорю:

— Луна, — понимаете?

Ю взглядывает на меня, потом на нумер талона — и я вижу это ее знакомое, такое очаровательно-целомудренное движение: поправляет складки юнифы между углами колен.

— У вас, дорогой, ненормальный, болезненный вид — потому что ненормальность и болезнь одно и тоже. Вы себя губите, и вам этого никто не скажет — никто.

Это «никто» — конечно, равняется нумеру на талоне: I-330. Милая, чудесная Ю! Вы, конечно, правы: я — неблагоразумен, я — болен, у меня — душа, я —

микроб. Но разве цветение — не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид — страшнейший из микробов?

Я — наверху, у себя в комнате. В широко-раскрытой чашечке кресла I. Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у ней на коленях, мы молчим. Тишина, пульс... и так: я — кристалл, и я растворяюсь в ней, в I. Я совершенно ясно чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани — я исчезаю, растворяюсь в ее коленях, в ней, я становлюсь все меньше — и одновременно все шире, все больше, все необъятней. Потому что она — это не она, а вселенная. А вот на секунду я и это пронизанное радостью кресло возле кровати — мы одно: и великолепно улыбающаяся старуха у дверей Древнего Дома, и дикие дебри за Зеленой Стеной, и какие-то серебряные на черном развалины, дремлющие как старуха, и где-то, невероятно далеко, сейчас хлопнувшая дверь — это все во мне, вместе со мною, слушает удары пульса и несется сквозь блаженную секунду...

В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь рассказать ей, что я — кристалл, и потому во мне — дверь, и потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит такая бессмыслица, что я останавливаюсь, мне просто стыдно: я — и вдруг...

— Милая I, прости меня! Я совершенно не понимаю: я говорю такие глупости...

— Отчего же ты думаешь, что глупость — это не хорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками, так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное.

— Да... (Мне кажется, она права, — как она может сейчас быть неправа?).

— И за одну твою глупость — за то, что ты сделал вчера на прогулке — я люблю тебя еще больше — еще больше.

— Но зачем же ты меня мучила, зачем же не приходила, зачем присылала свои талоны, зачем заставляла меня...

— А, может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу — что ты уж совсем мой?

— Да, совсем!

Она взяла мое лицо — всего меня — в свои ладони, подняла мою голову:

— Ну, а как же ваши «обязанности всякого честного нумера»? А?

Сладкие, острые, белые зубы; улыбка. Она в раскрытой чашечке кресла — как пчела: в ней жало и мед.

Да, обязанности... Я мысленно перелистываю свои последние записи: в самом деле, нигде даже и мысли о том, что, в сущности, я бы должен...

Я молчу. Я восторженно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой, и в каждом из них вижу себя: я — крошечный, миллиметровый — заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять — пчелы — губы, сладкая боль цветения...

В каждом из нас, нумеров, есть какой-то невидимый, тихо тикающий метроном, и мы, не глядя на часы, с точностью до 5 минут знаем время. Но тогда — метроном во мне остановился, я не знал, сколько прошло, в испуге схватил из-под подушки бляху с часами...

Слава Благодетелю: еще двадцать минут! Но минуты — такие до смешного коротенькие, куцые, бегут, а мне нужно столько рассказать ей — все, всего себя: о письме О, и об ужасном вечере, когда я дал ей ребенка; и почему-то о своих детских годах — о математике Пляпе, о $\sqrt{-1}$, и как я в первый раз был на празднике Единогласия и горько плакал, потому что

у меня на юнифе — в такой день, — оказалось чернильное пятно.

I подняла голову, оперлась на локоть. По углам губ — две длинные, резкие линии — и темный угол поднятых бровей: крест.

— Может быть, в этот день... — остановилась, и брови еще темнее. Взяла мою руку, крепко сжала ее. — Скажи, ты меня не забудешь, ты всегда будешь обо мне помнить?

— Почему ты так? О чем ты? I, милая?

I молчала, и ее глаза уже — мимо меня, сквозь меня, далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется — это было и все время, но услышал я только сейчас), и почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной Зеленой Стены.

I встряхнула головой, сбросила с себя что-то. Еще раз, секунду, коснулась меня вся — так аэро секундно, пружинно касается земли перед тем как сесть.

— Ну, давай мои чулки! Скорее!

Чулки — брошены у меня на столе, на раскрытой (193-й) странице моих записей. Второпях я задел за рукопись, страницы рассыпались и никак не сложить по порядку, а главное — если и сложить, все равно — не будет настоящего порядка, все равно — останутся какие-то пороги, ямы, иксы.

— Я не могу так, — сказал я. — Ты — вот — здесь, рядом, и будто все-таки за древней непрозрачной стеной: я слышу сквозь стены шорохи, голоса — и не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что-то не договариваешь, ты ни разу не сказала мне, куда я тогда попал в Древнем Доме, и какие коридоры, и почему доктор, — или, может быть, ничего этого не было?

I положила мне руки на плечо, медленно, глубоко вошла в глаза.

— Ты хочешь узнать все?

— Да, хочу. Должен.

— И ты не побоишься пойти за мной всюду, до конца — куда бы я тебя ни повела?

— Да, всюду!

— Хорошо. Обещаю тебе: когда кончится праздник, если только... Ах, да: а как ваш «Интеграл» — все забываю спросить, — скоро?

— Нет: что «если только»? Опять? Что «если только»?

Она (уже у двери):

— Сам увидишь...

Я — один. Все, что от нее осталось — это чуть слышный запах, похожий на сладкую, сухую, желтую пыль каких-то цветов из-за Стены. И еще: прочно засевшие во мне крючочки-вопросы — вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу (Доисторический Музей).

...Почему она вдруг об «Интеграле»?

Запись 24-ая.
Конспект:

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. ПАСХА. ВСЕ ЗАЧЕРКНУТЬ.

Я — как машина, пущенная на слишком большое число оборотов: подшипники накалились, еще минута — закапает расплавленный металл, и все — в ничто. Скорее — холодной воды, логики. Я лью ведрами, но логика шипит на горячих подшипниках и расплывается в воздухе неуловимым белым паром.

Ну, да, ясно: чтобы установить истинное значение функции — надо взять ее предел. И ясно, что вче-

рашнее нелепое «растворение во вселенной», взятое в пределе, есть смерть. Потому что смерть — именно полнейшее растворение меня во вселенной. Отсюда если через «Л» обозначим любовь, а через «С» смерть, то Л $=$ f (С), т. е. любовь и смерть...

Да, именно, именно. Потому-то я и боюсь I, я борюсь с ней, я не хочу. Но почему же во мне рядом и «я не хочу» и «мне хочется»? В том-то и ужас, что мне хочется опять этой вчерашней блаженной смерти. В том-то и ужас, что даже теперь, когда логическая функция проинтегрирована, когда очевидно, что она неявно включает в себя смерть, я все-таки хочу ее губами, руками, грудью, каждым миллиметром...

Завтра — День Единогласия. Там, конечно, будет и она, увижу ее, но только издали. Издали — это будет больно, потому что мне надо, меня неудержимо тянет, чтобы — рядом с ней, чтобы — ее руки, ее плечо, ее волосы... Но я хочу даже этой боли — пусть.

Благодетель великий! Какой абсурд — хотеть боли. Кому же не понятно, что болевые — отрицательные, слагаемые уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем. И, следовательно...

И вот — никаких «следовательно». Чисто. Голо.

ВЕЧЕРОМ:

Сквозь стеклянные стены дома — ветреный, лихорадочно-розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мною не торчало это розовое, перелистываю записи — и вижу: опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые, кого я люблю и жалею — для вас, еще плетущихся где-то в далеких веках, внизу.

Вот — о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его — с детских лет. Мне кажется для нас — это нечто вроде того, что для древних бы-

ла их «Пасха». Помню, накануне, бывало, составишь себе такой часовой календарик — с торжеством вычеркиваешь по одному часу: одним часом ближе, на один час меньше ждать... Будь я уверен, что никто не увидит — честное слово, я бы и нынче всюду носил с собой такой календарик и следил по нем, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу — хоть издали...

(Помешали: принесли новую, только что из мастерской, юнифу. По обычаю нам всем выдают новые юнифы к завтрашнему дню. В коридоре — шаги, радостные возгласы, шум).

Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую чашу согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать, — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем — ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм, что мы — говоря словами «Евангелия» древних — единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность — до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже — преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я — и может ли быть иначе, раз «все» и «я» — это единое «МЫ». Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская «тайна» у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, т. е. какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство — от них самих. И наконец, еще одно...

Сквозь стену слева: перед зеркальной дверью шкафа — женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду, смутно: глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем падает штора, во мне мгновенно все вчерашнее, и я не знаю, что «наконец еще одно», и не хочу об этом, не хочу! Я хочу одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной — только со мной. И то, что я писал вот сейчас о Единогласии, это все не нужно, не то, мне хочется все вычеркнуть, разорвать, выбросить. Потому что я знаю (пусть это кощунство, но это так) празд-

ник — только с нею, только тогда, если она будет рядом, плечом к плечу. А без нее — завтрашнее солнце будет только кружочком из жести, и небо — выкрашенная синим жесть, и сам я...

Я хватаюсь за телефонную трубку:

— I, это вы?

— Да, я. Как вы поздно?

— Может быть, еще не поздно. Я хочу вас попросить... Я хочу, чтоб вы завтра были со мной. Милая...

«Милая», — я говорю совсем тихо. И почему-то мелькает то, что было сегодня утром на эллинге: в шутку положили под стотонный молот часы — размах, ветром в лицо — и стотонно-нежное, тихое прикосновение к хрупким часам.

Пауза. Мне чудится, я слышу там — в комнате I — чей-то шопот. Потом ее голос:

— Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама... Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите.

НОЧЬ.

Запись 25-ая.
Конспект:

СОШЕСТВИЕ С НЕБЕС. ВЕЛИЧАЙШАЯ В ИСТОРИИ КАТАСТРОФА. ИЗВЕСТНОЕ КОНЧИЛОСЬ.

Когда, перед началом, все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн — сотни труб Музыкального Завода и миллио-

ны человеческих голосов — я на секунду забыл все: забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного, пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не видит, в каких я черных несмываемых пятнах, но ведь я-то знаю, что мне, преступнику, не место среди этих настежь раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и захлебываясь выкричать все о себе. Пусть потом конец — пусть! — но одну секунду почувствовать себя чистым, безмысленным, как это детски-синее небо.

Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве — едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он — новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе — и все выше навстречу ему миллионы сердец — и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун — как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (— сияние блях); и в центре ее — сейчас сядет белый, мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Но вот закончилось это величественное Его сошествие с небес, медь гимна замолкла, все сели — и я тотчас же понял: действительно — все тончайшая паутина, она натянута и дрожит, и вот-вот порвется и произойдет что-то невероятное...

Слегка привстав, я оглянулся кругом — и встретился взглядом с любяще-тревожными, перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку, и еле заметно шевеля пальцами, сигнализирует друго-

му. И вот — ответный сигнал пальцем. И еще... Я понял: они, Хранители. Я понял: они чем-то встревожены, паутина натянута, дрожит. И во мне — как в настроенном на ту же длину волн приемнике радио — ответная дрожь.

На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова: только мерные качанья гексаметрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час. И я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим — как страницы — и все еще не вижу того единственного, какое я ищу, и его надо скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет, а потом — —

Он — он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья-уши, темной, двояко-изогнутой петлей буквы S отразилось бегущее тело — он стремился куда-то в запутанные проходы между трибун.

S, I — какая-то нить (между ними — для меня все время какая-то нить; я еще не знаю, какая — но когда-нибудь я ее распутаю). Я уцепился за него глазами, он — клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот...

Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронзило, скрутило, в узел. В нашем ряду, всего в 40 градусах от меня, S остановился, нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней — отвратительно-негрогубый, ухмыляющийся R-13.

Первая мысль — кинуться туда и крикнуть ей: «Почему ты сегодня с ним? Почему не хотела, чтобы я?» Но невидимая, благодетельная паутина крепко спутала руки и ноги; стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас: это острая, физическая боль в сердце, Я, помню, подумал: «Если от нефизических причин — может быть физическая боль, то ясно, что — —»

Вывода я, к сожалению, не достроил: вспоминается только — мелькнуло что-то о «душе», пронеслась бессмысленная древняя поговорка — «душа в пятки». И я замер: гекзаметр смолк. Сейчас начинается... Что?

Установленный обычаем, пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное обычаем, предвыборное молчание. Но сейчас оно не было тем, действительно молитвенным, благоговейным, как всегда: сейчас было, как у древних, когда еще не знали наших аккумуляторных башен, когда не прирученное небо еще бушевало время от времени «грозами». Сейчас было, как у древних перед грозой.

Воздух — из прозрачного чугуна. Хочется дышать широко разинувши рот. До боли напряженный слух записывает: где-то сзади — мышино-грызущий, тревожный шопот. Неподнятыми глазами вижу все время тех двух — I и R — рядом, плечом к плечу, и у меня на коленях дрожат чужие — ненавистные мои — лохматые руки.

В руках у всех — бляхи с часами. Одна. Две. Три... Пять минут... с эстрады — чугунный, медленный голос:

— Кто «за» — прошу поднять руки.

Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше — прямо и преданно: «Вот я весь. Весь. Возьми меня!» Но теперь я не смел. Я с усилием — будто заржавели все суставы — поднял руку.

Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный «Ах!». И я чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не понимал — что, и не было силы — я не смел посмотреть...

— Кто — «против»?

Это всегда был самый величественный момент праздника: все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя главы благодетельному игу Нумера из

Нумеров. Но тут я с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как вздох — он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна. Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно — а кругом у всех бледнеют лица, у всех — холодные капли на лбу.

Я поднял глаза — и...

Это — сотая доля секунды, волосок. Я увидел: тысячи рук взмахнули вверх — «против» — упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку. В глазах потемнело.

Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем — как по знаку какого-то сумасшедшего дирижера — на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвеянных бегом юниф, растерянно мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами — возле каблуков чей-то широко-раскрытый, надрывающийся от неслышного крика рот. Это почему-то врезалось острее всего: тысячи беззвучно орущих ртов — как на чудовищном экране.

И как на экране — где-то далеко внизу на секунду передо мной — побелевшие губы О: прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками. И уже нет ее — смыта, или я забыл о ней, потому что...

Это уже не на экране — это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой слева, на скамье — вдруг выскочил R-13 — брызжущий, красный, бешеный. На руках у него — I, бледная, юнифа от плеча до груди разорвана, на белом — кровь. Она крепко держала его за шею, и он огромными скачками — со скамьи на скамью — отвратительный и ловкий, как горилла — уносил ее вверх.

Будто пожар у древних — все стало багровым — и только одно: прыгнуть, достать их. Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но

я, как таран, пропорол толпу — на чьи-то плечи — на скамьи — и вот уже близко, вот схватил за шиворот R:

— Не сметь! Не сметь, говорю. Сейчас же (к счастью моего голоса не было слышно — все кричали свое, все бежали).

— Кто? Что такое? Что? — R обернулся, губы, брызгая, тряслись — он, вероятно, думал, что его схватил один из Хранителей.

— Что? А вот — не хочу, не позволю! Долой ее с рук — сейчас же!

Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я — мне невероятно стыдно записывать это, но мне кажется: я все же должен, должен записать, чтобы вы, неведомые мои читатели, могли до конца изучить историю моей болезни — тут я смаху ударил его по голове. Вы понимаете — ударил! Это я отчетливо помню. И еще помню: чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара.

I быстро соскользнула у него с рук.

— Уходите, — крикнула она R, — вы же видите: он... Уходите, R, уходите!

R, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки I, крепко прижал ее к себе и понес.

Сердце во мне билось — огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную, горячую, такую радостную волну. И пусть там, что-то разлетелось вдребезги — все равно! Только бы так вот нести ее, нести, нести...

ВЕЧЕРОМ. 22 ЧАСА.

Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая усталость после всех головокружительных собы-

тий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные, вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без крова, в диком состоянии свободы — как наши далекие предки? Неужели нет Благодетеля? Против... в День Единогласия — против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем — кто «они»? И кто я сам: «они» или «мы» — разве я — знаю.

Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье — на самой верхней трибуне, куда я ее принес. Правое плечо и ниже — начало чудесной невычислимой кривизны — открыты; тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта грудь... нет, больше: она видит все это — но это именно то, что ей сейчас нужно, и если бы юнифа была застегнута, — она разорвала бы ее, она...

— А завтра... — она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. — А завтра — неизвестно что. Ты понимаешь: ни я не знаю, никто не знает — неизвестно! Ты понимаешь, что все известное — кончилось? Новое, невероятное, невиданное.

Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это — далеко, и все дальше, потому что она смотрит на меня, она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков. Так — долго, молча. И почему-то вспоминается, как однажды сквозь Зеленую Стену я тоже смотрел в чьи-то непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы (или это было в другой раз).

— Слушай: если завтра не случится ничего особенного — я поведу тебя туда, — ты понимаешь?

Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я — растворился, я бесконечно-малое, я — точка...

В конце концов — в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке — больше всего неизвестностей; стоит ей двинуться, шевель-

нуться — и она может обратиться в тысячи разных кривых, сотни тел.

Мне страшно шевельнуться: во что я обращусь? И мне кажется — все так же, как и я, боятся мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забившись в свои стеклянные клетки, и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу: по-двое, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся...

Что будет завтра? Во что я обращусь завтра?

Запись 26-ая.
Конспект:

МИР СУЩЕСТВУЕТ. СЫПЬ. 41°.

Утро. Сквозь потолок — небо по-всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое. Я думаю — меня меньше удивило бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычайное четырехугольное солнце, людей в разноцветных одеждах из звериной шерсти, каменные, непрозрачные стены. Так что же, стало быть, мир — н а ш м и р — еще существует? Или это только инерция, генератор уже выключен, а шестерни еще громыхают и вертятся — два оборота, три оборота — на четвертом замрут...

Знакомо ли вам это странное состояние? Ночью вы проснулись, раскрыли глаза в черноту и вдруг чувствуете — заблудились и скорее, скорее начинаете ощупывать кругом, искать что-нибудь знакомое и твердое — стену, лампочку, стул. Именно так я ощупывал, искал в Единой Государственной Газете — скорее, скорее, — и вот:

«Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми День Единогласия. В 48-й раз единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою непоколебимую мудрость Благодетель. Торжество омрачено было некоторым замешательством, вызванным врагами счастья, которые тем самым, естественно, лишили себя права стать кирпичами обновленного вчера фундамента Единого Государства. Всякому ясно, что принять в расчет их голоса было бы так же нелепо, как принять за часть великолепной, героической симфонии — кашель случайно присутствующих в концертном зале больных...».

О, мудрый! Неужели мы все-таки, несмотря ни на что — спасены? Но что же, в самом деле, можно возразить на этот кристальнейший силлогизм?

И дальше — еще две строки:

«Сегодня в 12 состоится соединенное заседание Бюро Административного, Бюро Медицинского и Бюро Хранителей. На днях предстоит важный Государственный акт».

Нет, еще стоят стены — вот они — я могу их ощупать. И уж нет этого странного ощущения, что я потерян, что я неизвестно где, что я заблудился, и нисколько не удивительно, что вижу синее небо, круглое солнце; и все — как обычно — отправляются на работу.

Я шел по проспекту особенно твердо и звонко — и мне казалось, так же шли все. Но вот перекресток, поворот за угол, и я вижу: все как-то странно, стороной огибают угол здания — будто там в стене прорвало какую-то трубу, брызжет холодная вода, и по тротуару нельзя пройти.

Еще пять, десять шагов — и меня тоже облило холодной водой, качнуло, сшибло с тротуара... На высоте, примерно, 2-х метров на стене — четырехуголь-

ный листок бумаги и оттуда — непонятные — ядовито-зеленые буквы:

МЕФИ.

А внизу S-образно изогнутая спина, прозрачно колыхающиеся от гнева или от волнения крылья-уши. Поднявши вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую — как больное, подбитое крыло, он подпрыгивал вверх — сорвать бумажку — и не мог, не хватало вот столько.

Вероятно, у каждого из проходивших мимо была мысль: «Если подойду я, один из всех — не подумает ли он: я в чем-нибудь виноват и именно потому хочу...».

Сознаюсь: та же мысль была и у меня. Но я вспомнил, сколько раз он был настоящим моим ангелом-хранителем, сколько раз он спасал меня — и смело подошел, протянул руку, сорвал листок.

S оборотился, быстро-быстро буравчики в меня, на дно, что-то достал оттуда. Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул на стену, где висело «Мефи». И мне мелькнул хвостик его улыбки — к моему удивлению, как будто даже веселой. А впрочем, чего же удивляться. Томительной, медленно подымающейся температуре инкубационного периода — врач всегда предпочтет сыпь и сорокаградусный жар: тут уж, по крайней мере, ясно, что за болезнь. «Мефи», высыпавшее сегодня на стенах — это сыпь. Я понимаю его улыбку...*).

Спуск в подземку — и под ногами, на непорочном стекле ступеней — опять белый листок: «Мефи».

---

*) Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел только через много дней, до верху набитых событиями самыми странными и неожиданными.

И на стене внизу, на скамейке, на зеркале в вагоне (видимо, наклеено наспех — небрежно, криво) — везде та же самая белая, жуткая сыпь.

В тишине — явственное жужжание колес, как шум воспаленной крови. Кого-то тронули за плечо — он вздрогнул, уронил сверток с бумагами. И слева от меня — другой: читает в газете все одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как всюду — в колесах, руках, газетах, ресницах — пульс все чаще, и, может быть, сегодня, когда я с I попаду туда — будет 39, 40, 41 градус — отмеченные на термометре черной чертой...

На эллинге — такая же, жужжащая далеким, невидимым пропеллером, тишина. Станки молча, насупившись, стоят. И только краны, чуть слышно, будто на цыпочках, скользят, нагибаются, хватают клешнями голубые глыбы замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны «И н т е г р а л а»: мы уже готовим его к пробному полету.

— Ну что: в неделю кончим погрузку?

Это я — Второму Строителю. Лицо у него — фаянс, расписанный сладко голубыми, нежно-розовыми цветочками (глаза, губы), но они сегодня — какие-то линялые, смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полуслове и стою, разинув рот: высоко под куполом на поднятой краном голубой глыбе — чуть заметный белый квадратик — наклеена бумажка. И меня всего трясет — может быть, от смеха — да, я сам слышу, как я смеюсь (знаете ли вы это, когда вы сами слышите свой смех?).

— Нет, слушайте... — говорю я. — Представьте, что вы на древнем аэроплане, альтиметр 5000 метров, сломалось крыло, вы турманом вниз, и по дороге высчитываете: «Завтра — от 12 до 2-х... от 2-х до 6... в 6 обед...». Ну не смешно ли? А ведь мы сейчас — именно так!

Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что если б я был стеклянный и он видел, что через каких-нибудь 3-4 часа...

Запись 27-ая.
Конспект:

НИКАКОГО КОНСПЕКТА — НЕЛЬЗЯ.

Я один в бесконечных коридорах — тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь — и оттуда глухой гул.

Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже прошло после 16 пять минут, десять, пятнадцать: никого.

На секунду — прежний я, которому страшно, если откроется эта дверь. Еще — последние пять минут, и если она не выйдет —

Где-то капает о камень вода. Никого. Я с тоскливой радостью чувствую: спасен. Медленно иду по коридору назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все тусклее, тусклее...

Вдруг сзади — торопливо брякнула дверь, быстрый топот, мягко отскакивающий от потолка, от стен — и она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом.

— Я знала: ты будешь здесь, ты придешь! Я знала: ты-ты...

Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь — и... Как рассказать то, что со мною делает этот древний, нелепый, чудесный обряд, когда ее губы касаются моих? Какой формулой выразить этот, все, кроме нее, в душе выметающий вихрь? Да, да, в душе — смейтесь, если хотите.

Она с усилием, медленно подымает веки — и с трудом, медленно слова:

— Нет, довольно... после: сейчас — пойдем.

Дверь открылась. Ступени — стертые, старые. И нестерпимо пестрый гам, свист, свет...

С тех пор прошли уже почти сутки, все во мне уже несколько отстоялось — и тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы приближенно-точное описание. В голове — как будто взорвали бомбу, а раскрытые рты, крылья, крики, листья, слова, камни — рядом, кучей, одно за другим...

Я помню — первое у меня было: «Скорее, сломя голову, назад». Потому что мне ясно: пока я там, в коридорах, ждал — они как-то взорвали или разрушили Зеленую Стену — и оттуда все ринулось и захлестнуло наш очищенный от нисшего мира город.

Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал I. Она засмеялась:

— Да нет же! Просто — мы вышли за Зеленую Стену...

Тогда я раскрыл глаза — и лицом к лицу со мной, на яву — то самое, чего до сих пор не видел никто из живых иначе, как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, затушеванное мутным стеклом Стены.

Солнце... это не было наше, равномерно распределенное по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были какие-то живые осколки, непрестанно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья, как свечки — в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки; как немые зеленые фонтаны... И все это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек, а я — прикован, я не могу ни шагу — потому

что под ногами не плоскость — понимаете, не плоскость — а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое.

Я был оглушен всем этим, я захлебнулся — это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вцепившись в какой-то качающийся сук.

— Ничего, ничего! Это — только сначала, это пройдет. Смелее!

Рядом с I — на зеленой, головокружительно-прыгающей сетке чей-то тончайший, вырезанный из бумаги профиль... нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню: доктор, — нет, нет, я очень ясно все понимаю. И вот понимаю: они вдвоем схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги у меня заплетаются, скользят. Там, карканье, мох, кочки, клекот, сучья, стволы, крылья, листья, свист...

И — деревья разбежались, яркая поляна, на поляне — люди... или уж я не знаю как: может быть правильней — существа.

Тут — самое трудное. Потому что это выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего I всегда так упорно отмалчивалась: я все равно бы не поверил — даже ей. Возможно, что завтра я и не буду верить и самому себе — вот этой своей записи.

На поляне, вокруг голого, похожего на череп, камня — шумела толпа в триста-четыреста... человек, — пусть — «человек», мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете только знакомых, так и здесь я сперва увидел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда — и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди, — повидимому, люди. Все они были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью — вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в Доисторическом Музее. Но у са-

мок — были лица точно такие — да, да, точно такие же, — как и у наших женщин: нежно розовые и не заросшие волосами, и у них свободны от волос были также груди — крупные, крепкие, прекрасной геометрической формы. У самцов, без шерсти была только часть лица — как у наших предков.

Это было до такой степени невероятно, до такой степени неожиданно, что я спокойно стоял — положительно утверждаю: спокойно стоял и смотрел. Как весы: перегрузите одну чашку — и потом можете класть туда уже сколько угодно — стрелка все равно не двинется...

Вдруг — один: I уже со мной нет — не знаю, как и куда она исчезла. Кругом — только эти, атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее, крепкое, вороное плечо:

— Послушайте — ради Благодетеля, — вы не видали — куда она ушла? Вот только сейчас — вот сию минуту...

На меня — косматые, строгие брови:

— Ш-ш-ш! Тише, — и космато кивнули туда, на середину, где желтый, как череп, камень.

Там, наверху, над головами, над всеми — я увидел ее. Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она — на синем полотне неба — резкая, угольно-черная, угольный силуэт на синем. Чуть выше летят облака, и так: будто не облака, а камень, и она сама на камне, и за нею толпа, и поляна — неслышно скользят, как корабль, и легкая — уплывает земля под ногами...

— Братья... — это она. — Братья! Вы все знаете: Там за Стеною в городе — строят «Интеграл». И вы знаете: пришел день, когда мы разрушим эту Стену — все стены — чтобы зеленый ветер из конца в конец — по всей земле. Но «Интеграл» унесет эти стены туда, вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня но-

чью зашелестят вам огнями сквозь черные ночные листья...

Об камень — волны, пена, ветер:

— Долой «Интеграл»! Долой!

— Нет, братья: не долой. Но «Интеграл» должен быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо — на нем будем мы. Потому что с нами Строитель «Интеграла». Он покинул стены, он пришел со мной сюда, чтобы быть среди вас. Да здравствует Строитель!

Миг — и я где-то наверху, подо мною — головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я чувствовал себя над всеми, я — был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей.

И вот я — с измятым, счастливым, скомканным, как после любовных объятий, телом — внизу, около самого камня. Солнце, голоса сверху — улыбка I. Какая-то золотоволосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина. В руках у ней — чаша, по-видимому из дерева. Она отпивает красными губами — и подает мне, и я жадно, закрывши глаза пью, чтоб залить огонь—пью сладкие, колючие, холодные искры.

А затем — кровь во мне и весь мир — в тысячу раз быстрее, легкая земля летит пухом. И все мне — легко, просто, ясно.

Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы: «Мефи» — и почему-то это так нужно, это — простая, прочная нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение — может быть, тоже на этом камне: крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце — ослепительный, малиново-тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь... или не то: чувствую его — так же как не слыша, чувствую каждое слово (она говорит сверху, с камня) — и чувствую, что

все дышут вместе — и всем вместе куда-то лететь, как тогда птицы над Стеной...

Сзади, из густо дышащей чащи тел — громкий голос:

— Но это же безумие!

И, кажется, я — да, думаю, что это был именно я — вскочил на камень, и оттуда солнце, головы, на синем — зеленая зубчатая пила, и я кричу:

— Да, да, именно! И надо всем сойти с ума, необходимо всем сойти с ума — как можно скорее! Это необходимо — я знаю.

Рядом — I; ее улыбка, две темных черты — от краев рта вверх, углом; и во мне — уголь, и это — мгновенно, легко, чуть больно, прекрасно...

Потом — только застрявшие, разрозненные осколки.

Медленно, низко — птица. Я вижу: она — живая, как я, она как человек поворачивает голову вправо, влево и в меня ввинчиваются черные, круглые глаза...

Еще: спина — с блестящей, цвета старой слоновой кости, шерстью. По спине ползет темное, с крошечными, прозрачными крыльями насекомое — спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое, еще раз вздрагивает...

Еще: от листьев тень — плетеная, решетчатая. В тени лежат и жуют что-то, похожее на легендарную пищу древних: длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Женщина сует это мне в руку, и мне смешно: я не знаю, могу ли я это есть.

И снова: толпа, головы, ноги, руки, рты. Выскакивают на секунду лица — и пропадают, лопаются, как пузыри. И на секунду — или, может быть, это только мне кажется — прозрачные, летящие крылья-уши.

Я из всех сил стискиваю руку I. Она оглядывается:

— Что ты?

— Он здесь... Мне показалось...

— Кто он?

— S... Вот только сейчас — в толпе...

Угольно-черные, тонкие брови вздернуты к вискам: острый треугольник, улыбка. Мне не ясно: почему она улыбается — как она может улыбаться?

— Ты не понимаешь — I, ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из них — здесь.

— Смешной! Разве кому-нибудь там, за Стеною, придет в голову, что мы — здесь. Вспомни: вот ты — разве ты когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там — пусть ловят! Ты — бредишь.

Она улыбается легко, весело и я улыбаюсь, земля — пьяная, веселая, легкая — плывет...

Запись 28-ая.
Конспект:

ОБЕ. ЭНТРОПИЯ И ЭНЕРГИЯ. НЕПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА.

Вот: если ваш мир подобен миру наших далеких предков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть света — какую-нибудь Атлантиду, и там — небывалые города-лабиринты, люди парящие в воздухе без помощи крыльев или аэро, камни, подымаемые вверх силою взгляда, — словом, такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете сноболезнью. Вот так же и я вчера. Потому что — поймите же, — никто и никогда из нас со времени Двухсотлетней Войны не был за Стеною — я уже говорил вам об этом.

Я знаю: мой долг перед вами, неведомые друзья, рассказать подробнее об этом странном и неожиданном мире, открывшемся мне вчера. Но пока я не в

состоянии вернуться к этому. Все новое и новое, какой-то ливень событий, и меня не хватает, чтобы собрать все: я подставляю полы, пригоршни — и все-таки целые ведра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только капли...

Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса — и узнал ее голос, I, упругий, металлический, — и другой, почти негнувшийся — как деревянная линейка — голос Ю. Затем дверь разверзлась с треском и выстрелила их обеих ко мне в комнату. Именно так: выстрелила.

I положила руку на спинку моего кресла и через плечо, вправо — одними зубами улыбалась той. Я не хотел бы стоять под этой улыбкой.

— Послушайте, — сказала мне I, — эта женщина, кажется, поставила себе целью охранять вас от меня, как малого ребенка. Это — с вашего разрешения?

И тогда — другая, вздрагивая жабрами:

— Да, он и есть ребенок. Да! Только потому он и не видит, что вы с ним все это — только затем, чтобы... что все это — комедия. Да! И мой долг...

На миг в зеркале — сломанная, прыгающая прямая моих бровей. Я вскочил и, с трудом удерживая в себе того — с трясущимися волосатыми кулаками, с трудом протискивая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор — в самые жабры:

— С-сию же с-секунду — вон! Сию же секунду!

Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посерели. Она раскрыла рот что-то сказать, и, ничего не сказав — захлопнулась, вышла.

Я бросился к I:

— Я не прощу — я никогда себе этого не прощу! Она смела — тебя? Но ты же не можешь думать, что я думаю, что... что она... Это все потому, что она хочет записаться на меня, а я...

— Записаться она, к счастью, не успеет. И хоть

тысячу таких, как она: мне все равно. Я знаю — ты поверишь не тысяче, но одной мне. Потому что ведь после вчерашнего — я перед тобой вся, до конца, как ты хотел. Я — в твоих руках, ты можешь — в любой момент...

— Что — в любой момент, — и тотчас же понял — что, кровь брызнула в уши, в щеки, я крикнул: — Не надо об этом, никогда не говори мне об этом! Ведь ты же понимаешь, что это — тот я, прежний, а теперь...

— Кто тебя знает... Человек — как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать...

I гладит меня по голове. Лица ее мне не видно, но по голосу слышу: смотрит сейчас куда-то очень далеко, зацепилась глазами за облако, плывущее неслышно, медленно, неизвестно куда...

Вдруг отстранила меня рукой — твердо и нежно:

— Слушай: я пришла сказать тебе что, может быть — мы уже последние дни... Ты знаешь: с сегодняшнего вечера отменены все аудиториумы.

— Отменены?

— Да. И я шла мимо — видела: в зданиях аудиториумов что-то готовят, какие-то столы, медики в белом.

— Но что же это значит?

— Я не знаю. Пока еще никто не знает. И это хуже всего. Я только чувствую: включили ток, искра бежит — и не нынче, так завтра... Но, может быть, они не успеют.

Я уж давно перестал понимать: кто — они, и кто — мы. Я не понимаю, чего я хочу: чтобы успели — или не успели. Мне ясно только одно: I сейчас идет по самому краю, — и вот-вот...

— Но это безумие, — говорю я. — Вы — и Единое Государство. Это все равно, как заткнуть рукою

дуло — и думать, что можно удержать выстрел. Это — совершенное безумие!

Улыбка:

— «Надо всем сойти с ума — как можно скорее сойти с ума». Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там...

Да, это у меня записано. И, следовательно, это было на самом деле. Я молча смотрю на ее лицо: на нем сейчас особенно-явственно — темный крест.

— I, милая — пока еще не поздно... Хочешь — я брошу все, зубуду все — и уйдем с тобою туда, за Стену — к этим... я не знаю, кто они.

Она покачала головой. Сквозь темные окна глаз — там, внутри у ней, я видел, пылает печь, искры, языки огня вверх, навалены горы сухих, смоляных дров. И мне ясно: поздно уже, мои слова уже ничего не могут...

Встала — сейчас уйдет. Может быть — уже последние дни, может быть — минуты... Я схватил ее за руку.

— Нет! Еще хоть немного — ну ради... ради...

Она медленно поднимала вверх, к свету мою руку — мою волосатую руку, которую я так ненавидел. Я хотел выдернуть, но она держала крепко.

— Твоя рука... Ведь ты не знаешь — и немногие это знают, что женщинам отсюда, из города, случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и — —

Пауза — и как странно: от паузы, от пустоты, от ничего — так несется сердце. И я кричу:

— Ага! Ты еще не уйдешь! Ты не уйдешь — пока мне не расскажешь о них — потому что ты любишь... их, а я даже не знаю, кто они, откуда они. Кто они? Половина, какую мы потеряли, H_2 и O —

а чтобы получилось H_2O — ручьи, моря, водопады, волны, бури, — нужно, чтобы половины соединились...

Я отчетливо помню каждое ее движение. Я помню, как она взяла со стола мой стеклянный треугольник и все время, пока я говорил, прижимала его острым ребром к щеке — на щеке выступил белый рубец, потом наливался розовым, исчезал. И удивительно: я не могу вспомнить ее слов — особенно в начале — и только какие-то отдельные образы, цвета.

Знаю: сперва это было — о Двухсотлетней Войне. И вот — красное на зелени трав, на темных глинах, на синеве снегов — красные, непросыхающие лужи. Потом желтые, сожженные солнцем травы, голые, желтые всклокоченные люди — и всклокоченные собаки — рядом, возле распухшей падали, собачьей, или, может быть, человечьей... Это, конечно — за стенами: потому что город — уже победил, в городе уже наша теперешняя — нефтяная пища.

И почти с неба до низу — черные, тяжелые складки, и складки колышутся: над лесами, над деревнями, медленные столбы, дым. Глухой вой: гонят в город черные бесконечные вереницы — чтобы силою спасти их и научить счастью.

— Ты все это почти знал?

— Да, почти.

— Но ты не знал и только немногие знали, что небольшая часть их все же уцелела и осталась жить там, за Стенами. Голые — они ушли в леса. Они учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую, красную кровь. С вами хуже: вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса. Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода, пусть молятся огню. И мы, Мефи — мы хотим...

— Нет, подожди — а «Мефи»? Что такое «Мефи»?

— Мефи? Это — древнее имя, это — тот, который... Ты помнишь: там, на камне — изображен юноша... Или нет: я лучше на твоем языке, так ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии — наши, или вернее — ваши предки, христиане, поклонялись, как Богу. А мы, анти-христиане, мы...

И вот момент — чуть слышный, шопотом стук в дверь — и в комнату вскочил тот самый сплюснутый, с нахлобученным на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки от I.

Он подбежал к нам, остановился, сопел — как воздушный насос — и не мог сказать ни слова: должно быть, бежал во всю мочь.

— Да ну же! Что случилось? — схватила его за руку I.

— Идут — сюда... — пропыхтел, наконец, насос. — Стража... и с ними этот — ну, как это... вроде горбатенького...

— S?

— Ну да! Рядом — в доме. Сейчас будут здесь. Скорее, скорее!

— Пустое! Успеется... — смеялась, в глазах — искры, веселые языки.

Это — или нелепое, безрассудное мужество — или тут было что-то еще непонятное мне.

— I, ради Благодетеля! Пойми же — ведь это...

— Ради Благодетеля, — острый треугольник — улыбка.

— Ну... ну ради меня... Прошу тебя.

— Ах, а мне еще надо было с тобой об одном деле... Ну, все равно: завтра...

Она весело (да: весело) кивнула мне; кивнул и тот

— высунувшись на секунду из-под своего лбяного навеса. И я — один.

Скорее — за стол. Развернул свои записи, взял перо — чтобы они нашли меня за этой работой на пользу Единого Государства. И вдруг — каждый волос на голове живой, отдельный и шевелится: «А что если возьмут и прочтут хотя бы одну страницу — из этих, из последних?»

Я сидел за столом, не двигаясь — и я видел, как дрожали стены, дрожало перо у меня в руке, колыхались, сливаясь, буквы...

Спрятать? Но куда: все — стекло. Сжечь? Но из коридора и из соседних комнат — увидят. И потом я уже не могу, не в силах истребить этот мучительный — и может быть самый дорогой мне — кусок самого себя.

Издали — в коридоре — уже голоса, шаги. Я успел только схватить пачку листов, сунуть их под себя — и вот теперь прикованный к колеблещемуся каждым атомом креслу, и пол под ногами — палуба, вверх и вниз...

Сжавшись в комочек, забившись под навес лба — я, как-то, исподлобья, крадучись видел: они шли из комнаты в комнату, начиная с правого конца коридора, и все ближе. Одни сидели, застывшие, как я; другие — вскакивали им навстречу и широко распахивали дверь, — счастливцы! Если бы я тоже...

— «Благодетель — есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого в организме Единого Государства никакая перистальтика...» — я прыгающим пером выдавливал эту совершенную бессмыслицу, и нагибался над столом все ниже, а в голове — сумасшедшая кузница, и спиною я слышал — брякнула ручка двери, опахнуло ветром, кресло подо мною заплясало...

Только тогда я с трудом оторвался от страницы и

повернулся к вошедшим (как трудно играть комедию... ах, кто мне сегодня говорил о комедии?). Впереди был S — мрачно, молча, быстро высверливая глазами колодцы во мне, в моем кресле, во вздрагивающих у меня под рукой листках. Потом на секунду — какие-то знакомые, ежедневные лица на пороге, и вот от них отделилось одно — раздувающиеся, розово-коричневые жабры...

Я вспомнил все, что было в этой комнате полчаса назад, и мне было ясно, что она сейчас — — Всё мое существо билось и пульсировало в той (к счастью, непрозрачной) части тела, какою я прикрыл рукопись.

Ю подошла сзади к нему, к S, осторожно тронула его за рукав — и негромко сказала:

— Это — Д-503, Строитель «Интеграла». Вы, наверное, слышали? Он — всегда вот так, за столом... Совершенно не щадит себя!

...А я-то? Какая чудесная, удивительная женщина.

S заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо — над столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крикнул:

— Прошу сейчас же показать мне, что у вас там!

Я, весь полыхая от стыда, подал ему листок. Он прочитал и я видел, как из глаз выскользнула у него улыбка, юркнула вниз по лицу и, чуть пошевеливая хвостиком, присела где-то в правом углу рта...

— Несколько двусмысленно, но все-таки... Что же, продолжайте: мы больше не будем вам мешать.

Он зашлепал — как плицами по воде — к двери, и с каждым его шагом ко мне постепенно возвращались ноги, руки, пальцы — душа снова равномерно распределялась по всему телу, я дышал...

Последнее: Ю задержалась у меня в комнате, подошла, нагнулась к уху — и шопотом:

— Ваше счастье, что я...

Непонятно: что она хотела этим сказать?

Вечером, позже, узнал: они увели с собой троих. Впрочем, вслух об этом, равно как и о всем происходящем, никто не говорит (— воспитательное влияние невидимо присутствующих в нашей среде Хранителей). Разговоры — главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.

Запись 29-ая.
Конспект:

НИТИ НА ЛИЦЕ. РОСТКИ. ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННАЯ КОМПРЕССИЯ.

Странно: барометр идет вниз, а ветра все еще нет, тишина. Там, наверху, уже началась — еще неслышная нам — буря. Во весь дух несутся тучи. Их пока мало — отдельные зубчатые обломки. И так: будто наверху уже низринут какой-то город, и летят вниз куски стен и башен, растут на глазах с ужасающей быстротой — все ближе — но еще дни им лететь сквозь голубую бесконечность, пока не рухнут на дно, к нам, вниз.

Внизу — тишина. В воздухе — тонкие, непонятные, почти невидимые нити. Их каждую осень приносит оттуда, из-за Стены. Медленно плывут — и вдруг вы чувствуете: что-то постороннее, невидимое у вас на лице, вы хотите смахнуть — и нет: не можете, никак не отделаться...

Особенно много этих нитей — если идти около Зеленой Стены, где я шел сегодня утром: I назначила мне увидеться с нею в Древнем Доме — в той, нашей «квартире».
громаду Древнего Дома, когда сзади услышал чьи-то

мелкие, торопливые шаги, частое дыхание. Оглянулся — и увидал: меня догоняла О.

Вся она была как-то по особенному, закончено, упруго кругла. Руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало юнифу: вот сейчас прорвет тонкую материю — и наружу, на солнце, на свет. Мне представляется: там, в зеленых дебрях, весною так же упрямо пробиваются сквозь землю ростки — чтобы скорее выбросить ветки, листья, скорее цвести.

Несколько секунд она молчала, сине сияла мне в лицо.

— Я видела вас — тогда, в День Единогласия.

— Я тоже вас видел... — И сейчас же мне вспомнилось, как она стояла внизу, в узком проходе, прижавшись к стене и закрыв живот руками. Я невольно посмотрел на ее круглый под юнифой живот.

Она, очевидно, заметила — вся стала кругло-розовая, и розовая улыбка:

— Я так счастлива — так счастлива... Я полна — понимаете: вровень с краями. И вот — хожу и ничего не слышу, что кругом, а все слушаю внутри, в себе...

Я молчал. На лице у меня — что-то постороннее, оно мешало — и я никак не мог от этого освободиться. И вдруг неожиданно, еще синее сияя, она схватила мою руку — и у себя на руке я почувствовал ее губы... Это — первый раз в моей жизни. Это была какая-то неведомая мне до сих пор древняя ласка, и от нее — такой стыд и боль, что я (пожалуй, даже грубо) выдернул руку.

— Слушайте — вы с ума сошли! И не столько это — вообще вы... Чему вы радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждет? Не сейчас — так все равно через месяц, через два месяца...

Она — потухла; все круги — сразу прогнулись, покоробились. А у меня в сердце — неприятная даже бо-

лезненная компрессия, связанная с ощущением жалости (сердце — не что иное, как идеальный насос; компрессия, сжатие — засасывание насосом жидкости — есть технический абсурд; отсюда ясно: насколько, в сущности, абсурдны, противоестественны, болезненны все «любви», «жалости» и все прочее, вызывающее такую компрессию).

Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены — слева. Темно-красная громада — впереди. И эти два цвета, слагаясь, дали во мне в виде равнодействующей — как мне кажется, блестящую идею.

— Стойте! Я знаю, как спасти вас. Я избавлю вас от этого: увидать своего ребенка — и затем умереть. Вы сможете выкормить его — понимаете, — вы будете следить, как он у вас на руках будет расти, круглеть, наливаться, как плод...

Она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня.

— Вы помните ту женщину... ну, тогда, давно, на прогулке. Так вот: она сейчас здесь, в Древнем Доме. Идемте к ней и ручаюсь: я все устрою немедля.

Я уже видел, как мы втроем с I ведем ее коридорами — вот она уже там, среди цветов, трав, листьев... Но она отступила от меня назад, рожки розового ее полумесяца дрожали и изгибались вниз.

— Это — та самая, — сказала она.

— То есть... — я почему-то смутился. — Ну да: та самая.

— И вы хотите, чтобы я пошла к ней — чтобы я просила ее — чтобы я... Не смейте больше никогда мне об этом!

Согнувшись она быстро пошла от меня. Будто еще что-то вспомнила — обернулась и крикнула:

— И умру — да, пусть! И вам никакого дела — не все ли вам равно?

Тишина. Падают сверху, с ужасающей быстротой растут на глазах — куски синих башен и стен, но им

еще часы — может быть, дни — лететь сквозь бесконечность; медленно плывут невидимые нити, оседают на лицо — и никак их не стряхнуть, никак не отделаться от них.

Я медленно иду к Древнему Дому. В сердце — абсурдная, мучительная компрессия...

Запись 30-ая.
Конспект:

ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО. ОШИБКА ГАЛИЛЕЯ. НЕ ЛУЧШЕ-ЛИ?

Вот мой разговор с I — там, вчера, в Древнем Доме, среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шума — красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета... И все время — под застывшей на мраморе улыбкой курносого древнего поэта.

Я воспроизвожу этот разговор буква в букву — потому что он, как мне кажется, будет иметь огромное, решающее значение для судьбы Единого Государства — и больше: вселенной. И затем — здесь, вы, неведомые мои читатели, быть может найдете некоторое оправдание мне...

I сразу, без всякой подготовки, обрушила на меня все:

— Я знаю: послезавтра у вас — первый, пробный полет «Интеграла». В этот день — мы захватим его в свои руки.

— Как? Послезавтра?

— Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен, наудачу взятых вчера Хранителями — попало 12 Мефи. И упустить два-три дня — они погибнут.

Я молчал.

— Чтобы наблюдать за ходом испытания — к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в 12 — запомни — когда прозвонят к обеду и все пройдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой — и «Интеграл» наш... Ты понимаешь: это нужно, во что бы то ни стало. «Интеграл» в наших руках — это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. Их аэро... ха! Это будет просто ничтожная мошкара против коршуна. И потом: если уж это будет неизбежно — можно будет направить вниз дула двигателей и одной только их работой...

Я вскочил.

— Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете — это революция?

— Да, революция! Почему же это нелепо?

— Нелепо — потому что революции не может быть. Потому что наша — это не ты, а я говорю — наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому...

Насмешливый, острый треугольник бровей:

— Милый мой: ты — математик. Даже — больше: ты философ — от математики. Так вот: назови мне последнее число.

— То есть? Я... я не понимаю: какое — последнее?

— Ну — последнее, верхнее, самое большое.

— Но, I — это же нелепо. Раз число чисел — бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней — нет, революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо — чтобы дети спокойно спали по ночам...

— Но какой смысл — какой же смысл во всем

этом — ради Благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы?

— Положим... Ну, хорошо: пусть даже так. А что дальше?

— Смешно! Совершенно ребяческий вопрос. Расскажи что-нибудь детям — все до конца, а они все-таки непременно спросят: а дальше, а зачем?

— Дети — единственно смелые философы. И смелые философы — непременно дети. Именно так, как дети, всегда и надо: а что дальше?

— Ничего нет дальше! Точка. Во всей вселенной — равномерно, повсюду — разлито...

— Ага: равномерно, повсюду! Вот тут она самая и есть — энтропия, психологическая энтропия. Тебе, математику — разве не ясно, что только разности — разности — температур, только тепловые контрасты — только в них жизнь. А если всюду, по всей вселенной, одинаково-теплые — или одинаково-прохладные, тела... Их надо столкнуть — чтобы огонь, взрыв, геенна. И мы — столкнем.

— Но, I, — пойми же, пойми: наши предки — во время Двухсотлетней Войны — именно это и сделали...

— О, и они были правы — тысячу раз правы. У них только одна ошибка: позже они уверовали, что они есть последнее число — какого нет в природе, нет. Их ошибка — ошибка Галилея: он был прав, что земля движется вокруг солнца, но он не знал, что вся солнечная система — движется еще вокруг какого-то центра, он не знал, что настоящая, не относительная, орбита земли — вовсе не наивный круг...

— А вы?

— А мы — пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Нет: даже наверное — забудем, когда состаримся — как неминуемо старится все. И тогда мы — тоже неизбежно вниз — как осенью листья

с дерева — как послезавтра вы... Нет, нет, милый — не ты. Ты же — с нами, ты — с нами!

Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая — я никогда еще не видел ее такой — она обняла меня собою, вся. Я исчез...

Последнее — глядя прочно, твердо в глаза мне:

— Так помни же: в 12.

И я сказал:

— Да, я помню.

Ушла. Я один — среди буйного, разноголосого гама — синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых...

Да, в 12... — и вдруг нелепое ощущение чего-то постороннего, осевшего на лицо — чего никак не смахнуть. Вдруг — вчерашнее утро, Ю — и то, что она кричала тогда в лицо I... Почему? Что за абсурд.

Я поторопился выйти наружу — и скорее домой, домой...

Где-то сзади я слышал пронзительный писк птиц над Стеной. А впереди, в закатном солнце — из малинового кристаллизованного огня — шары куполов, огромные пылающие кубы-дома, застывшей молнией в небе — шпиц аккумуляторной башни. И все это — всю эту безукоризненную, геометрическую красоту — я должен буду сам, своими руками... Неужели — никакого выхода, никакого пути?

Мимо какого-то аудиториума (нумер его не помню). Внутри — грудой сложены скамьи; посредине — столы, покрытые простынями из белоснежного стекла; на белом пятно розовой солнечной крови. И во всем этом скрыто какое-то неведомое — потому жуткое — завтра. Это противоестественно: мыслящему — зрячему существу жить среди незакономерностей, неизвестных, иксов. Вот если бы вам завязали глаза и заставили так ходить, ощупывать, спотыкаться, и вы

знаете, что где-то тут вот совсем близко — край, один только шаг — и от вас останется только сплющенный, исковерканный кусок мяса. Разве это не то же самое?

... А что если не дожидаясь — самому вниз головой? Не будет ли это единственным и правильным, сразу распутывающим все?

Запись 31-ая.
Конспект:

ВЕЛИКАЯ ОПЕРАЦИЯ. Я ПРОСТИЛ ВСЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ.

Спасены! В самый последний момент, когда уже казалось — не за что ухватиться, казалось — уже все кончено...

Так: будто вы по ступеням уже поднялись к грозной Машине Благодетеля, и с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни, — скорее — глотаете глазами синее небо...

И вдруг: все это — только «сон». Солнце — розовое и веселое, и стена — такая радость погладить рукой холодную стену — и подушка — без конца упиваться ямкой от вашей головы на белой подушке...

Вот, приблизительно, то, что пережил я, когда сегодня утром прочитал Государственную Газету. Был страшный сон, и он кончился. А я, малодушный, я, неверующий, — я думал уже о своевольной смерти. Мне стыдно сейчас читать последние, написанные вчера, строки. Но все равно: пусть, пусть они останутся, как память о том невероятном, что могло быть — и чего уже не будет... да, не будет!..

На первой странице Государственной Газеты сияло:

«Радуйтесь,

Ибо отныне вы — совершенны! До сего дня ваши же детища, механизмы — были совершеннее вас.

Чем?

Каждая искра динамо — искра чистейшего разума; каждый ход поршня — непорочный силлогизм. Но разве не тот же безошибочный разум и в вас?

Философия у кранов, прессов и насосов — закончена и ясна, как циркульный круг. Но разве ваша философия менее циркульна?

Красота механизма — в неуклонном и точном, как маятник, ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой Тэйлора — не стали маятниково-точны?

И только одно:

У механизма нет фантазии.

Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономии у насосного цилиндра — расплывалась далекая, бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам, в часы, назначенные для отдыха, беспокойно ворочались и вздыхали?

Нет!

А у вас — краснейте! — Хранители все чаще видят эти улыбки и вздохи. И — прячьте глаза, — историки Единого Государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных событий.

Но это не ваша вина — вы больны. Имя этой болезни:

фантазия.

Это — червь, который выгрызает черные морщины на лбу. Это — лихорадка, которая гонит вас бежать все дальше — хотя бы это «дальше» начиналось

там, где кончается счастье. Это — последняя баррикада на пути к счастью.

И радуйтесь: она уже взорвана.

Путь свободен.

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок в области Варолиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка Х-лучами — и вы излечены от фантазии —

Навсегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопроцентному счастью — свободен. Спешите же все — стар и млад — спешите подвергнуться Великой Операции. Спешите в аудиториумы, где производится Великая Операция. Да здравствует Великая Операция! Да здравствует Единое Государство, да здравствует Благодетель!».

... Вы — если бы вы читали все это не в моих записях, похожих на какой-то древний, причудливый роман — если бы у вас в руках, как у меня, дрожал вот этот еще пахнущий краской газетный лист — если бы вы знали, как я, что все это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтрашняя, — разве не чувствовали бы вы то же самое, что я? Разве — как у меня сейчас — не кружилась бы у вас голова? Разве — по спине и рукам — не бежали бы у вас эти жуткие, сладкие ледяные иголочки? Разве не казалось бы вам, что вы — гигант, Атлас — и если распрямиться, то непременно стукнетесь головой о стекляный потолок?

Я схватил телефонную трубку:

— I-330... Да, да: 330, — и потом, захлебываясь, крикнул: — Вы дома, да? Вы читали — вы читаете? Ведь это же, это же... Это изумительно!

— Да... — долгое, темное молчание. Трубка чуть

слышно жужжала, думала что-то... — Мне непременно надо вас увидеть сегодня. Да, у меня после 16. Непременно.

Милая! Какая-какая милая! «Непременно»... Я чувствовал: улыбаюсь — и никак не могу остановиться, и так вот понесу по улице эту улыбку — как фонарь, высоко над головой...

Там, снаружи на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой — все равно: теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-летучие тучи — пусть: вам не затемнить солнца — мы навеки приковали его цепью к зениту — мы, Иисусы Навины.

На углу — плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влипши лбами в стекло стены. Внутри, на ослепительно-белом столе уже лежал один. Виднелись из-под белого развернутые желтым углом босые подошвы, белые медики — нагнулись к изголовью, белая рука — протянула руке наполненный чем-то шприц.

— А вы — что ж не идете, — спросил я — никого, или, вернее, всех.

— А вы, — обернулся ко мне чей-то шар.

— Я — потом. Мне надо еще сначала...

Я, несколько смущенный, отошел. Мне, действительно, сначала надо было увидеть ее, I. Но почему «сначала» — я не мог ответить себе...

Эллинг. Голубовато-ледяной посверкивал, искрился «Интеграл». В машинном гудела динамо — ласково, одно и то же какое-то слово повторяя без конца — как будто мое, знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную, холодную трубу двигателя. Милая... какая — какая милая. Завтра ты — оживешь, завтра — первый раз в жизни содрогнешься от огненных жгучих брызг в твоем чреве...

Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы все оставалось, как вчера?

Если бы я знал, что завтра в 12 — я предам его... да, предам...

Осторожно — за локоть сзади. Обернулся: тарелочное, плоское лицо Второго Строителя.

— Вы уже знаете, — сказал он.

— Что? Операция? Да, неправда ли? Как — все, все — сразу...

— Да нет, не то: пробный полет отменили, до послезавтра. Все из-за операции этой... Зря гнали, старались...

«Все из-за Операции»... Смешной, ограниченный человек. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что не будь Операции — завтра в 12 он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там и лез на стену...

У меня в комнате, в 15½. Я вошел — и увидел Ю. Она сидела за моим столом, — костяная, прямая, твердая — утвердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уже давно: потому что, когда вскочила навстречу мне — на щеке у ней так и остались пять ямок от пальцев.

Одну секунду во мне — то самое несчастное утро, и вот здесь же, возле, стола — она рядом с I, разъяренная... Но только секунду — и сейчас же смыто сегодняшним солнцем. Так бывает, если в яркий день вы, входя в комнату, по рассеянности повернули штепсель — лампочка загорелась, но как будто ее и нет — такая смешная, бедная, ненужная...

Я, не задумываясь, протянул ей руку, я простил все — она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их, и взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения, щеками, — сказала:

— Я ждала... я только на минуту... я только хотела сказать: как я счастлива, как я рада за вас! Вы понимаете: завтра-послезавтра — вы совершенно здоровы, вы заново — родились...

Я увидел на столе листок — последние две страницы вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера — так и лежали. Если бы она видела, что я писал там... Впрочем все равно: теперь это — только история, теперь это — до смешного далекое, как сквозь перевернутый бинокль...

— Да, — сказал я, — и знаете: вот я сейчас шел по проспекту, и впереди меня человек, и от него — тень на мостовой. И понимаете: — тень — светится. И мне кажется — ну вот я уверен, — завтра совсем не будет теней, ни от одного человека, ни от одной вещи, солнце — сквозь все...

Она — нежно и строго:

— Вы — фантазер! Детям у меня в школе — я бы не позволила говорить так...

И что-то о детях, и как она их всех сразу, гуртом, повела на Операцию, и как их там пришлось связать, и о том, что «любить — нужно беспощадно, да беспощадно» и что она, кажется, наконец, решится...

Оправила между колен серо-голубую ткань, молча, быстро — обклеила всего меня улыбкой, ушла.

И — к счастью, солнце сегодня еще не остановилось, солнце бежало, и вот уже 16, я стучу в дверь — сердце стучит...

— Войдите!

На пол — возле ее кресла, обняв ее ноги, закинув голову вверх, смотреть в глаза — поочередно, в один и в другой — и в каждом видеть себя — в чудесном плену...

А там, за стеною, буря, там — тучи все чугуннее: пусть! В голове — тесно, буйные — через край — слова, и я вслух вместе с солнцем лечу куда-то... нет, теперь мы уже знаем, куда — и за мною планеты — планеты, брызжущие пламенем и населенные огненными, поющими цветами — и планеты немые, синие, где разумные камни объединены в организованные

общества — планеты, достигшие, как наша земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья...

И вдруг — сверху:

— А ты не думаешь, что вершина — это именно объединенные в организованное общество камни?

И все острее, все темнее треугольник:

— А счастье... Что же? Ведь желания — мучительны, не так ли? И ясно: счастье — когда нет уже никаких желаний, нет ни одного... Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, что мы до сих пор перед счастьем — ставили знак плюс, перед абсолютным счастьем — конечно, минус — божественный минус.

Я — помню — растерянно пробормотал:

— Абсолютный минус — 273°...

— Минус 273 — именно. Немного прохладно, но разве это-то самое и не доказывает, что мы — на вершине.

Как тогда, давно — она говорила как-то за меня, мною — развертывала до конца мои мысли. Но было в этом что-то такое жуткое — я не мог — и с усилием вытащил из себя «нет».

— Нет, — сказал я. — Ты... ты шутишь...

Она засмеялась, громко — слишком громко. Быстро, в секунду, досмеялась до какого-то края — отступилась — вниз... Пауза.

Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно смотрела. Потом притянула к себе — и ничего нет: только ее острые, горячие губы.

— Прощай!

Это — издалека, сверху, и дошло до меня нескоро — может быть, через минуту, через две.

— Как так «прощай»?

— Ты же болен, ты из-за меня совершал преступления, — разве тебе не было мучительно? А теперь Операция — и ты излечишься от меня. И это — прощай.

— Нет, — закричал я.

Беспощадно-острый, черный треугольник на белом:

— Как? Не хочешь счастья?

Голова у меня расскакивалась, два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали...

— Ну, что же, я жду — выбирай: Операция и стопроцентное счастье — или...

— «Не могу без тебя, не надо без тебя» — сказал я или только подумал — не знаю, но I слышала.

— Да, я знаю, — ответила мне. И потом — все еще держа у меня на плечах свои руки и глазами не опуская моих глаз:

— Тогда — до завтра. Завтра — в 12: ты помнишь?

— Нет. Отложено на один день... Послезавтра...

— Тем лучше для нас. В 12 — послезавтра...

Я шел один — по сумеречной улице. Ветер крутил меня, нес, гнал — как бумажку, обломки чугунного неба летели, летели — сквозь бесконечность им лететь еще день, два... Меня задевали юнифы встречных — но я шел один. Мне было ясно: все спасены, но мне спасенья уже нет, я не хочу спасенья...

Запись 32-ая.
Конспект:

Я НЕ ВЕРЮ. ТРАКТОРЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЩЕПОЧКА.

Верите ли вы в то, что вы умрете? Да, человек смертен, я — человек: следовательно... Нет, не то: я знаю, что вы это знаете. А я спрашиваю: случалось

ли вам поверить в это, поверить окончательно, поверить не умом, а телом, почувствовать, что однажды пальцы, которые держат вот эту самую страницу— будут желтые, ледяные...

Нет: конечно, не верите — и оттого до сих пор не прыгнули с десятого этажа на мостовую, оттого до сих пор едите, перевертываете страницу, бреетесь, улыбаетесь, пишите...

То же самое — да, именно то же самое — сегодня со мной. Я знаю, что эта маленькая черная стрелка на часах сползет вот сюда, вниз, к полночи, снова медленно подымется вверх, перешагнет какую-то последнюю черту — и настанет невероятное завтра. Я знаю это, но вот все же как-то не верю — или, может быть, мне кажется, что двадцать четыре часа — это двадцать четыре года. И оттого я могу еще что-то делать, куда-то торопиться, отвечать на вопросы, взбираться по трапу вверх на «Интеграл». Я чувствую еще, как он покачивается на воде, и понимаю — что надо ухватиться за поручень — и под рукою холодное стекло. Я вижу, как прозрачные живые краны, согнув журавлиные шеи, вытянув клювы, заботливо и нежно кормят «Интеграл» страшной взрывной пищей для двигателей. И внизу на реке — я вижу ясно синие, вздувшиеся от ветра водяные жилы, узлы. Но так: все это очень отдельно от меня, посторонне, плоско — как чертеж на листе бумаги. И странно, что плоское, чертежное лицо Второго Строителя — вдруг говорит:

— Так как же: сколько берем топлива для двигателей? Если считать три... ну три с половиной часа...

Передо мною — в проекции, на чертеже — моя рука со счетчиком, логарифмический циферблат, цифра 15.

— Пятнадцать тонн. Но лучше возьмите... да: возьмите сто...

Это потому, что я всё-таки ведь знаю, что завтра — —

И я вижу со стороны — как чуть заметно начинает дрожать моя рука с циферблатом.

— Сто? Да зачем же такую уйму? Ведь это — на неделю. Куда — на неделю: больше!

— Мало ли что... кто знает...

— Я знаю...

Ветер свистит, весь воздух туго набит чем-то невидимым до самого верху. Мне трудно дышать, трудно идти — и трудно, медленно, не останавливаясь ни на секунду — ползет стрелка на часах аккумуляторной башни, там в конце проспекта. Башенный шпиц — в тучах — тусклый, синий и глухо воет: сосет электричество. Воют трубы Музыкального Завода.

Как всегда — рядами, по четыре. Но ряды — какие-то непрочные, и, может быть, от ветра — колеблются, гнутся. И все больше. Вот обо что-то на углу ударились, отхлынули, и уже сплошной, застывший, тесный, с частым дыханием комок, у всех сразу — длинные, гусиные шеи.

— Глядите! Нет, глядите — вон там, скорей!

— Они! Это они!

— ... А я — ни за что! Ни за что — лучше голову в Машину...

— Тише! Сумасшедший...

На углу, в аудиториуме — широко разинута дверь, и оттуда — медленная, грузная колонна, человек пятьдесят. Впрочем «человек» — это не то: не ноги — а какие-то тяжелые, скованные, ворочающиеся от невидимого привода колеса; не люди — а какие-то человекообразные тракторы. Над головами у них хлопает по ветру белое знамя с вышитым золотым солнцем — и в лучах надпись: «Мы первые! Мы — уже оперированы! Все за нами!».

Они медленно, неудержимо пропахали сквозь толпу — и ясно, будь вместо нас на пути у них стена, дерево, дом — они все же, не останавливаясь, пропахали бы сквозь стену, дерево. дом. Вот — они уже на середине проспекта. Свинтившись под руку — растянулись в цепь, лицом к нам. И мы — напряженный, ощетинившийся головами комок — ждем. Шеи гусино вытянуты. Тучи. Ветер свистит.

Вдруг крылья цепи, справа и слева, быстро загнулись — и на нас — все быстрее — как тяжелая машина под гору — обжали кольцом — и к разинутым дверям, в двери, внутрь...

Чей-то пронзительный крик:

— Загоняют! Бегите!

И все ринулось. Возле самой стены — еще узенькие живые воротца, все — туда, головами вперед — головы мгновенно заострились клиньями, и острые локти, ребра, плечи, бока. Как струя воды, стиснутая пожарной кишкой, разбрызнулись веером и кругом сыплются топающие ноги. взмахивающие руки, юнифы. Откуда-то на миг в глаза мне — двояко-изогнутое, как буква S, тело, прозрачные крылья-уши — и уж его нет, сквозь землю — и я один — среди секундных рук, ног — бегу...

Передохнуть в какой-то подъезд — спиною крепко к дверям — и тотчас же ко мне, как ветром прибило маленькую человеческую щепочку.

— Я все время... я за вами... Я не хочу — понимаете, — не хочу. Я согласна...

Круглые, крошечные руки у меня на рукаве, круглые синие глаза: это она, О. И вот, как-то вся скользит по стене и оседает на земь. Комочком согнулась там, внизу, на холодных ступенях, и я — над ней, глажу ее по голове, по лицу — руки мокрые. Так: будто я очень большой, а она — совсем маленькая, — малень-

кая часть меня же самого. Это совершенно другое, чем к I, и мне сейчас представляется: нечто подобное могло быть у древних по отношению к их частным детям.

Внизу — сквозь руки, закрывающие лицо — еле слышно:

— Я каждую ночь... Я не могу — если меня вылечат... Я каждую ночь — одна, в темноте думаю о нем — какой он будет, как я его буду... Мне же нечем тогда жить — понимаете? И вы должны — вы должны...

Нелепое чувство — но я в самом деле уверен: да, должен. Нелепое — потому что этот мой долг — еще одно преступление. Нелепое — потому что белое не может быть одновременно черным, долг и преступление — не могут совпадать. Или нет в жизни ни черного, ни белого, и цвет зависит только от основной логической посылки. И если посылкой было то, что я противозаконно дал ей ребенка...

— Ну, хорошо — только не надо, только не надо... — говорю я. — Вы понимаете: я должен повести вас к I — как я тогда предлагал — чтобы она...

— Да (— тихо, не отнимая рук от лица).

Я помог встать ей. И молча, каждый о своем — или, может быть, об одном и том же — по темнеющей улице, среди немых свинцовых домов, сквозь тугие, хлещущие ветки ветра...

В какой-то прозрачной, напряженной точке — я сквозь свист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывающие, как по лужам, шаги. На повороте оглянулся — среди опрокинуто несущихся, отраженных в тусклом стекле мостовой, туч — увидел S. Тотчас же у меня — посторонние, не в такт размахивающие руки, и я громко рассказываю О — что завтра... да, завтра — первый полет «И н т е г р а л а», это будет нечто совершенно небывалое, чудесное, жуткое.

О — изумленно, кругло, сине смотрит на меня, на

мои громко, бессмысленно размахивающие руки. Но я не даю сказать ей слова — я говорю, говорю. А внутри, отдельно — это слышно только мне — лихорадочно жужжит и постукивает мысль: «Нельзя... надо как-то... Нельзя вести его за собою к I — ...».

Вместо того, чтобы свернуть влево — я сворачиваю вправо. Мост подставляет свою покорно, рабски согнутую спину — нам троим: мне, О — и ему, S, сзади. Из освещенных зданий на том берегу сыплются в воду огни, разбиваются в тысячи лихорадочно прыгающих, обрызганных бешеной белой пеной, искр. Ветер гудит — как где-то невысоко натянутая канатно-басовая струна. И сквозь бас — сзади все время — —

Дом, где живу я. У дверей О остановилась, начала было, что-то:

— Нет! Вы же обещали...

Но я не дал ей кончить, торопливо втолкнул в дверь — и мы внутри, в вестибюле. Над контрольным столиком — знакомые, взволнованно-вздрагивающие, обвислые щеки; кругом — плотная кучка нумеров — какой-то спор, головы, перевесившиеся со второго этажа через перила — по одиночке сбегают вниз. Но это — потом, потом... А сейчас я скорее увлек О в противоположный угол, сел спиною к стене (там, за стеною, я видел: скользила по тротуару взад и вперед темная, большеголовая тень), вытащил блокнот.

О — медленно оседала в своем кресле — будто под юнифой испарялось, таяло тело, и только одно пустое платье и пустые — засасывающие синей пустотой — глаза. Устало:

— Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули?

Нет... Тише! Смотрите туда: видите — за стеной?

— Да. Тень.

— Он — все время за мной... Я не могу. Понимае-

те — мне нельзя. Я сейчас напишу два слова — вы возьмете и пойдете одна. Я знаю: он останется здесь.

Под юнифой — снова зашевелилось налитое тело, чуть-чуть закруглел живот, на щеках — чуть заметный рассвет, заря.

Я сунул ей в холодные пальцы записку, крепко сжал руку, последний раз зачерпнул глазами из ее синих глаз.

— Прощайте! Может быть, еще когда-нибудь...

Она вынула руку. Согнувшись, медленно пошла— два шага — быстро повернулась — и вот опять рядом со мной. Губы шевелятся — глазами, губами — вся — одно и то же, одно и то же мне какое-то слово — и какая невыносимая улыбка, какая боль...

А потом согнутая человеческая щепочка в дверях, крошечная тень за стеной — не оглядываясь, быстро — все быстрее...

Я подошел к столику Ю. Взволнованно, негодующее раздувая жабры, она сказала мне:

— Вы понимаете — все как с ума сошли! Вот он уверяет, будто сам видел около Древнего Дома какого-то человека — голый и весь покрыт шерстью...

Из пустой, ощетинившейся головами кучки — голос:

— Да! И еще раз повторяю: видел, да.

— Ну, как вам это нравится, а? Что за бред!

И это «бред» — у нее такое убежденное, негнущееся, что я спросил себя: «Не бред ли и в самом деле все это, что творится со мною и вокруг меня за последнее время?».

Но взглянул на свои волосатые руки — вспомнилось: «В тебе, наверно, есть капля лесной крови... Может быть, я тебя оттого и...»

Нет: к счастью — не бред. Нет: к несчастью — не бред.

Запись 33-ья.
Конспект:

(ЭТО БЕЗ КОНСПЕКТА НАСПЕХ, ПОСЛЕДНЕЕ).

Этот день — настал.

Скорей за газету: быть может — там... Я читаю газету глазами (именно так: мои глаза сейчас — как перо, как счетчик, которые держишь, чувствуешь, в руках — это постороннее, это инструмент).

Там — крупно, во всю первую страницу:

— «Враги счастья не дремлют. Обеими руками держитесь за счастье! Завтра приостанавливаются работы — все нумера явятся для Операции. Неявившиеся — подлежат Машине Благодетеля».

Завтра! Разве может быть — разве будет какое-нибудь завтра?

По ежедневной инерции, я протянул руку (инструмент) к книжной полке — вложил сегодняшнюю Газету к остальным, в украшенный золотом переплет. И на пути:

— «Зачем? Не все ли равно? Ведь сюда, в эту комнату — я уже никогда больше, никогда...».

И газета из рук — на пол. А я стою и оглядываю кругом всю, всю, всю комнату, я поспешно забираю с собою — я лихорадочно запихиваю в невидимый чемодан все, что жалко оставить здесь. Стол. Книги. Кресло. На кресле тогда сидела I — а я внизу, на полу... Кровать...

Потом минуту, две — нелепо жду какого-то чуда,

быть может — зазвонит телефон, быть может, она скажет, чтоб...

Нет. Нет чуда...

Я ухожу — в неизвестное. Это мои последние строки. Прощайте — вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил столько страниц, кому я, заболевший душой — показал всего себя, до последнего смолотого винтика, до последней лопнувшей пружины...

Я ухожу.

Запись 34-ая.
Конспект:

ОТПУЩЕННИКИ. СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ. РАДИО-ВАЛЬКИРИЯ

О, если бы я действительно разбил себя и всех вдребезги, если бы я действительно — вместе с нею — оказался где-нибудь за Стеной, среди скалящих желтые клыки зверей, если бы я действительно уже больше никогда не вернулся сюда. В тысячу — в миллион раз легче. А теперь — что же? Пойти и задушить эту — — Но разве это чему-нибудь поможет?

Нет, нет, нет! Возьми себя в руки, Д-503. Насади себя на крепкую логическую ось — хоть ненадолго, навались изо всех сил на рычаг — и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов — пока не запишешь, не обмыслишь всего, что случилось...

Когда я вошел на «И н т е г р а л» — все уже были в сборе, все на местах, все соты гигантского, стеклянного улья были полны. Сквозь стекло палуб — крошечные муравьиные люди внизу — возле телеграфов, динамо, трансформаторов, альтиметров, вентилей, стрелок, двигателей, помп, труб. В кают-компании

— какие-то над таблицами и инструментами — вероятно командированные Научным Бюро. И возле них — Второй Строитель с двумя своими помощниками.

У всех троих головы по черепашьи втянуты в плечи, лица — серые, осенние, без лучей.

— Ну, что? — спросил я.

— Так... Жутковато... — серо, без лучей улыбнулся один. — Может придется спуститься неизвестно где. И вообще — неизвестно...

Мне было нестерпимо смотреть на них, — на них, кого я, вот этими самыми руками, через час навсегда выкину из уютных цифр Часовой Скрижали, навсегда оторву от материнской груди Единого Государства. Они напомнили мне трагические образы «Трех Отпущенников» — история которых известна у нас любому школьнику. Эта история о том, как троих нумеров, в виде опыта, на месяц освободили от работы: делай, что хочешь, иди куда хочешь*). Несчастные слонялись возле места привычного труда и голодными глазами заглядывали внутрь; останавливались на площадях — и по целым часам проделывали те движения, какие в определенное время дня были уже потребностью их организма: пилили и стругали воздух, невидимыми молотами побрякивали, бухали в невидимые болванки. И, наконец, на десятый день не выдержали: взявшись за руки вошли в воду и под звуки Марша погружались все глубже, пока вода не прекратила их мучений...

Повторяю: мне было тяжело смотреть на них, я торопился уйти.

— Я только проверю в машинном, — сказал я, — и потом — в путь.

О чем-то меня спрашивали — какой вольтаж взять

---

*) Это давно, еще в III веке после Скрижали.

для пускового взрыва, сколько нужно водяного балласта в кормовую цистерну. Во мне был какой-то граммофон: он отвечал на все вопросы быстро и точно, а я, не переставая, — внутри, о своем.

И вдруг в узеньком коридорчике — одно попало мне туда, внутрь — и с того момента, в сущности, началось.

В узеньком коридорчике мелькали мимо серые юнифы, серые лица, и среди них на секунду одно: низко нахлобученные волосы, глаза исподлобья — тот самый. Я понял: они здесь, и мне не уйти от всего этого никуда, и остались только минуты — несколько десятков минут... Мельчайшая, молекулярная дрожь во всем теле (она потом не прекращалась уже до самого конца) — будто поставлен огромный мотор, а здание моего тела — слишком легкое, и вот все стены, переборки, кабели, балки, огни — все дрожит...

Я еще не знаю: здесь ли она. Но сейчас уже некогда — за мной прислали, чтобы скорее наверх, в командную рубку: пора в путь... Куда?

Серые, без лучей, лица. Напруженные синие жилы внизу, на воде. Тяжкие, чугунные пласты неба. И так чугунно мне поднять руку, взять трубку командного телефона.

— Вверх — 45°!

Глухой взрыв — толчок — бешеная бело-зеленая гора воды в корме — палуба под ногами уходит — мягкая, резиновая — и все внизу, вся жизнь, навсегда... На секунду — все глубже падая в какую-то воронку, все кругом сжималось — выпуклый сине-ледяной чертеж города, круглые пузырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумуляторной башни. Потом — мгновенная ватная занавесь туч — мы сквозь нее — и солнце, синее небо. Секунды, минуты, мили

— синее быстро твердеет, наливается темнотой, каплями холодного серебряного пота проступают звезды...

И вот — жуткая, нестерпимо-яркая, черная, звездная, солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще видите, что ревут трубы, но только видите: трубы немые, тишина. Такое было — немое — солнце.

Это было естественно, этого и надо было ждать. Мы вышли из земной атмосферы. Но так как-то все быстро, врасплох — что все кругом оробели, притихли. А мне — мне показалось даже легче под этим фантастическим, немым солнцем: как будто я, скорчившись последний раз, уже переступил неизбежный порог — и мое тело где-то там, внизу, а я несусь в новом мире, где все и должно быть непохожее, перевернутое...

— Так держать, — крикнул я в машину — или не я, а тот самый граммофон во мне — и граммофон механической, шарнирной рукой сунул командную трубку Второму Строителю. А я весь одетый тончайшей, молекулярной, одному мне слышной дрожью — побежал вниз, искать...

Дверь в кают-компанию — та самая: через час она тяжко звякнет, замкнется... Возле двери — какой-то незнакомый мне, низенький, с сотым, тысячным, пропадающим в толпе лицом, и только руки необычайно длинные, до колен: будто по ошибке, наспех взяты из другого человеческого набора.

Длинная рука вытянулась, загородила:

— Вам куда?

Мне ясно: он не знает, что я знаю все. Пусть: может быть — так нужно. И я сверху, намеренно резко:

— Я строитель «Интеграла». И я — распоряжаюсь испытаниями. Поняли?

Руки нет.

Кают-компания. Над инструментами, картами — объезженные серой щетиной головы — и головы жел-

тые, лысые, спелые. Быстро всех в горсть — одним взглядом — и назад, по коридору, по трапу, вниз, в машинное. Там жар и грохот от раскаленных взрывами труб, в отчаянной пьяной присядке сверкающие мотыли, в неперестающей ни на секунду, чуть заметной дрожи — стрелки на циферблатах...

И вот — наконец, — возле тахометра — он, с низко нахлобученным над записной книжкой лбом...

— Послушайте... (грохот: надо кричать в самое ухо). — Она здесь? Где она?

В тени — исподлобья — улыбка:

— Она? Там. В радио-телефонной...

И я — туда. Там их — трое. Все — в слуховых крылатых шлемах. И она — будто на голову выше, чем всегда, крылатая, сверкающая, летучая — как древние валькирии, и будто огромные, синие искры наверху, на радио-шпице — это от нее, и от нее здесь — легкий, молнийный, озонный запах.

— Кто-нибудь... нет, хотя бы — вы... — сказал я ей, задыхаясь (от бега). — Мне надо передать вниз, на землю, на эллинг... Пойдемте, я продиктую...

Рядом с аппаратной — маленькая коробочка-каюта. За столом, рядом. Я нашел, крепко сжал ее руку:

— Ну что же? Что же будет?

— Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно: не зная — лететь — все равно куда... И вот скоро 12 — и неизвестно что? И ночь... где мы с тобой будем ночью? Может быть — на траве, на сухих листьях...

От нее — синие искры и пахнет молнией, и дрожь во мне — еще чаще.

— Запишите, — говорю я громко и все еще задыхаясь (от бега). — Время 11.30. Скорость: 6800...

Она — из под крылатого шлема, не отрывая глаз от бумаги, тихо:

...Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской... Я знаю — я все знаю: молчи. Но ведь ребенок — твой? И я ее отправила — она уже там, за стеною. Она будет жить...

Я — снова в командной рубке. Снова — бредовая, с черным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь; медленно с одной минуты на другую перехрамывающая стрелка часов на стене; и все, как в тумане, одето тончайшей, чуть заметной (одному мне) дрожью.

Почему-то показалось: лучше, чтоб все это произошло не здесь, а где-то внизу, ближе к земле.

— Стоп, — крикнул я в машину.

Все еще вперед — по инерции — но медленней, медленней. Вот теперь «Интеграл» зацепился за какой-то секундный волосок, на миг повис неподвижно, потом волосок лопнул — и «Интеграл», как камень, вниз — все быстрее. Так в молчании, минуты, десятки минут — слышен пульс — стрелка перед глазами все ближе к 12. И мне ясно: это я — камень, I — земля, а я — кем-то брошенный камень — и камню нестерпимо нужно упасть, хватиться о земь, чтоб вдребезги... А что если... — внизу уже твердый, синий дым туч... — а что если...

Но граммофон во мне — шарнирно, точно, взял трубку, скомандовал «малый ход» — камень перестал падать. И вот устало пофыркивают лишь четыре нижних отростка — два кормовых и два носовых — только, чтобы парализовать вес «Интеграла» и «Интеграл», чуть вздрагивая, прочно как на якоре — стал в воздухе, в каком-нибудь километре от земли.

Все высыпали на палубу (сейчас — 12, звонок на обед) и, перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо, залпом глотали неведомый, застенный мир — там, внизу. Янтарное, зеленое, синее: осенний лес,

луга, озеро. На краю синего блюдечка — какие-то желтые, костяные развалины, грозит желтый, высохший палец — должно быть, чудом уцелевшая башня древней церкви.

— Глядите, глядите! Вон там — правее!

Там — по зеленой пустыне — коричневой тенью летало какое-то быстрое пятно. В руках у меня бинокль, механически поднес его к глазам: по грудь в траве, взвеяв хвостом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у них — те, караковые, белые, вороные...

Сзади меня:

— А я вам говорю: — видел — лицо.

— Подите вы! Рассказывайте кому другому!

— Ну нате, нате бинокль...

Но уже исчезли. Бесконечная зеленая пустыня...

И в пустыне — заполняя всю ее, и всего меня и всех — пронзительная дрожь звонка: обед, через минуту — 12.

Раскиданный на мгновенные, несвязные обломки — мир. На ступеньках — чья-то звонкая золотая бляха — и это мне все равно: вот теперь она хрустнула у меня под каблуком. Голос: «А я говорю — лицо!». Темный квадрат: открытая дверь кают-компании. Стиснутые, белые, остро-улыбающиеся зубы...

И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от одного удара до другого, начали бить часы, и передние ряды уже двинулись — квадрат двери вдруг перечеркнут двумя знакомыми, неестественно-длинными руками:

— Стойте!

В ладонь мне впились пальцы — это I, это она рядом:

— Кто? Ты знаешь его?

— А разве... а разве это не...

Он — на плечах. Над сотнею лиц — его сотое, тысячное и единственное из всех лицо:

— От имени Хранителей... Вам — кому я говорю, те слышат, каждый из них слышит меня — вам я говорю: мы знаем. Мы еще не знаем ваших нумеров — но мы знаем все. «Интеграл» — вашим не будет! Испытание будет доведено до конца, и вы же — вы теперь не посмеете шевельнуться, — вы же, своими руками, сделаете это. А потом... Впрочем, я кончил...

Молчание. Стеклянные плиты под ногами — мягкие, ватные, и у меня мягкие, ватные ноги. Рядом у нее — совершенно белая улыбка, бешеные, синие искры. Сквозь зубы — на ухо мне:

— А, так это вы? Вы — «исполнили долг»? Ну, что же...

Рука — вырвалась из моих рук, валькирийный, гневно-крылый шлем — где-то далеко впереди. Я — один застыло, молча, как все, иду в кают-компанию...

— «Но ведь не я же — не я! Я же об этом ни с кем, никому кроме этих белых, немых страниц...».

Внутри себя — неслышно, отчаянно, громко — я кричал ей это. Она сидела через стол, напротив — и она даже ни разу не коснулась меня глазами. Рядом с ней — чья-то спело-желтая лысина. Мне слышно (это — I):

— «Благородство»? Но, милейший профессор, ведь даже простой филологический анализ этого слова — показывает, что это предрассудок, пережиток древних, феодальных эпох. А мы...

Я чувствовал: бледнею — и вот сейчас все увидят это... Но граммофон во мне проделывал 50 установленных жевательных движений на каждый кусок, я заперся в себе, как в древнем непрозрачном доме — я завалил дверь камнями, я завесил окна...

Потом — в руках у меня командная трубка, и лет

— в ледяной, последней тоске — сквозь тучи — в ледяную, звездно-солнечную ночь. Минуты, часы. И, очевидно, во мне все время лихорадочно, полным ходом — мне же самому неслышный логический мотор. Потому что вдруг в какой-то точке синего пространства: мой письменный стол, над ним — жаберные щеки Ю, забытый лист моих записей. И мне ясно: никто кроме нее, — мне все ясно...

Ах, только бы — только бы добраться до радио... Крылатые шлемы, запах синих молний... Помню — что-то громко говорил ей, и помню — она глядя сквозь меня, как будто я был стеклянный — издалека:

— Я занята: принимаю снизу. Продиктуйте вот ей...

В крошечной коробочке-каюте, минуту подумав, я твердо продиктовал:

— Время — 14.40. Вниз! Остановить двигатели. Конец всего.

Командная рубка. Машинное сердце «Интеграла» остановлено, мы падаем, и у меня сердце — не поспевает падать, отстает, подымается все выше к горлу. Облака — и потом далеко зеленое пятно — все зеленее, все явственней — вихрем мчится на нас — сейчас конец — —

Фаянсово-белое, исковерканное лицо Второго Строителя. Вероятно, это он — толкнул меня со всего маху, я обо что-то ударился головой и уже темнея, падая — туманно слышал:

— Кормовые — полный ход!

Резкий скачек вверх... Больше ничего не помню.

Запись 35-ая.
Конспект:

В ОБРУЧЕ. МОРКОВКА. УБИЙСТВО.

Всю ночь не спал. Всю ночь — об одном...

Голова после вчерашнего у меня туго стянута бинтами. И так: это не бинты, а обруч; беспощадный, из стеклянной стали, обруч наклепан мне на голову, и я — в одном и том же кованном кругу: убить Ю. Убить Ю, — а потом пойти к той и сказать: «Теперь — веришь»? Противней всего что убить как-то грязно, древне, размозжить чем-то голову — от этого странное ощущение чего-то отвратительно-сладкого во рту, и я не могу проглотить слюну, все время сплевываю ее в платок, во рту сухо.

В шкафу у меня лежал лопнувший после отливки тяжелый поршневой шток (мне нужно было посмотреть структуру излома под микроскопом). Я свернул в трубку свои записи (пусть она прочтет всего меня — до последней буквы), сунул внутрь обломок штока и пошел вниз. Лестница — бесконечная, ступени — какие-то противно скользкие, жидкие, все время — вытирать рот платком...

Внизу. Сердце бухнуло. Я остановился, вытащил шток — к контрольному столику — —

Но Ю там не было: пустая, ледяная доска. Я вспомнил: сегодня — все работы отменены; все должны на операцию, и понятно: ей незачем, некого записывать здесь...

На улице. Ветер. Небо из несущихся чугунных плит. И так, как это было в какой-то момент вчера: весь мир разбит на отдельные, острые, самостоятельные кусочки, и каждый из них, падая стремглав, на секунду останавливался, висел передо мной в воздухе — и без следа испарялся.

Как если бы черные, точные буквы на этой странице — вдруг сдвинулись, в испуге расскакались какая куда — и ни одного слова, только бессмыслица: пуг--скак--как-- На улице — вот такая же рассыпанная, не в рядах, толпа — прямо, назад, наискось, поперек.

И уже никого. И на секунду, несясь стремглав, застыло: вон, во втором этаже, в стеклянной, повисшей на воздухе, клетке — мужчина и женщина — в поцелуе, стоя — она всем телом сломанно отогнулась назад. Это — навеки, последний раз...

На каком-то углу — шевелящийся колючий куст голов. Над головами — отдельно, в воздухе — знамя, слова: «Долой Машины! Долой Операцию!» И отдельно (от меня) — я, думающий секундно: «Неужели у каждого такая боль, какую можно исторгнуть изнутри — только вместе с сердцем, и каждому нужно что-то сделать, прежде чем — — ». И на секунду ничего во всем мире, кроме (моей) звериной руки с чугунно-тяжелым свертком...

Теперь — мальчишка: весь — вперед, под нижней губой — тень. Нижняя губа — вывернута, как обшлаг засученного рукава — вывернуто все лицо — он ревет — и от кого-то со всех ног — за ним топот...

От мальчишки: «Да, Ю — должна быть теперь в школе, нужно скорей». Я побежал к ближайшему спуску подземки.

В дверях кто-то бегом:

— Не идут! Поезда сегодня не идут! Там —

Я спустился. Там был — совершенный бред. Блеск граненых хрустальных солнц. Плотно утрамбованная головами платформа. Пустой, застывший поезд.

И в тишине — голос. Ее — не видно, но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий голос — и где-нибудь там вздернутый к вискам острый треугольник бровей... Я закричал:

— Пустите же! Пустите меня туда! Я должен —

Но чьи-то клещи меня — за руки, за плечи, гвоздями. И в тишине — голос:

— ...Нет: бегите наверх! Там вас — вылечат, там вас до отвалу накормят сдобным счастьем, и вы, сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая, — разве вы не слышите этой великой симфонии храпа? Смешные: вас хотят освободить от извивающихся, как черви, мучительно грызущих, как черви, вопросительных знаков. А вы здесь стоите и слушаете меня. Скорее — наверх — к Великой Операции! Что вам за дело, что я останусь здесь одна? Что вам за дело — если я не хочу, чтобы за меня хотели другие, а хочу хотеть сама, — если я хочу невозможного...

Другой голос — медленный, тяжелый:

— Ага! Невозможного? Это значит — гонись за твоими дурацкими фантазиями, а они чтоб перед носом у тебя вертели хвостом? Нет: мы — за хвост, да под себя, а потом...

— А потом — слопаете, захрапите — и нужен перед носом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное: осел. Чтобы заставить его идти все вперед, все вперед — перед мордой, к оглобле, привязывали морковь так, чтоб он не мог ухватить. И если ухватил, слопал...

Вдруг клещи меня отпустили, я кинулся в середину, где говорила она — и в тот же момент все посыпалось, стиснулось — сзади крик: «Сюда, сюда идут!» Свет подпрынул, погас — кто-то перерезал провод — и лавина, крики, хрип, головы, пальцы...

Я не знаю, сколько времени мы катились так в подземной трубе. Наконец: ступеньки — сумерки — все светлее — и мы снова на улице веером, в разные стороны...

И вот — один. Ветер, серые, низкие — совсем над головой — сумерки. На мокром стекле тротуара — очень глубоко — опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами фигуры. И невероятно тяжелый сверток в руке — тянет меня в глубь, ко дну.

Внизу, за столиком, Ю опять не было, и пустая, темная — ее комната.

Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутые обручем виски стучали, я ходил, — закованный все в одном и том же кругу: стол, на столе белый сверток, кровать, дверь, стол, белый сверток... В комнате слева опущены шторы. Справа: над книгой — шишковатая лысина, и лоб — огромная желтая парабола. Морщины на лбу — ряд желтых неразборчивых строк. Иногда мы встречаемся глазами — и тогда я чувствую: эти желтые строки — обо мне.

...Произошло ровно в 21. Пришла Ю — сама. Отчетливо осталось в памяти только одно: я дышал так громко, что слышал, как дышу, и все хотел как-нибудь потише — и не мог.

Она села, расправила на коленях юнифу. Розово-коричневые жабры трепыхались.

— Ах, дорогой — так это правда, вы ранены? Я как только узнала — сейчас же...

Шток передо мною на столе. Я вскочил, дыша еще громче. Она услышала, остановилась на полслове, тоже почему-то встала. Я видел уже это место на голове, во рту отвратительно-сладко... платок, но платка нет — сплюнул на пол.

Тот, за стеной справа — желтые, пристальные морщины — обо мне. Нужно, чтобы он не видел, еще противней — если он будет смотреть... Я нажал кнопку — пусть никакого права, разве это теперь не все равно, — шторы упали.

Она, очевидно, почувствовала, поняла, метнулась к

двери. Но я опередил ее — и громко дыша, ни на секунду не спуская глаз с этого места на голове...

— Вы... вы с ума сошли! Вы не смеете... — она пятилась задом — села, вернее упала на кровать — засунула, дрожа, сложенные ладонями руки между колен. Весь пружинный, все так же крепко держа ее глазами на привязи, я медленно протянул руку к столу — двигалась только одна рука — схватил шток.

— Умоляю вас! День — только один день! Я завтра — завтра же — пойду и все сделаю...

О чем она? Я замахнулся — —

И я считаю: я убил ее. Да, вы, неведомые мои читатели, вы имеете право назвать меня убийцей. Я знаю, что спустил бы шток на ее голову, если бы она не крикнула:

— Ради... ради... Я согласна — я... сейчас.

Трясущимися руками она сорвала с себя юнифу — просторное, желтое, висячее тело опрокинулось на кровать... И только тут я понял: она думала, что я шторы — это для того, чтобы — что я хочу...

Это было так неожиданно, так глупо, что я расхохотался. И тотчас же туго закрученная пружина во мне — лопнула, рука ослабела, шток громыхнул на пол. Тут я на собственном опыте увидел, что смех — самое страшное оружие: смехом можно убить все — даже убийство.

Я сидел за столом и смеялся — отчаянным, последним смехом — и не видел никакого выхода из всего этого нелепого положения. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы развивалось естественным путем — но тут вдруг новая, внешняя, слагающая: зазвонил телефон.

Я кинулся, стиснул трубку: может быть, она? и в трубку чей-то незнакомый голос:

— Сейчас.

Томительное, безконечное жужжание. Издали — тяжелые шаги, все ближе, все гулче, все чугунней — и вот...

— Д-503? Угу... С Вами говорит Благодетель. Немедленно ко мне!

Динь, — трубка повешена, — динь.

Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платье, кинул на нее — сквозь зубы:

— Ну! Скорее — скорее!

Она приподнялась на локте, груди сплеснулись на бок, глаза круглые, вся повосковела.

— Как?

— Так. Ну — одевайтесь же!

Она — вся узлом, крепко вцепившись в платье, голос вплющенный.

— Отвернитесь...

Я отвернулся, прислонился лбом к стеклу. На черном, мокром зеркале дрожали огни, фигуры, искры. Нет: это — я, это — во мне... Зачем Он меня? Неужели Ему уже известно о ней, обо мне, обо всем?

Ю, уже одетая, у двери. Два шага к ней — стиснул ей руки так, будто именно из ее рук сейчас по каплям выжму то, что мне нужно:

— Слушайте... Ее имя — вы знаете, о ком — вы ее называли? Нет? Только правду — мне это нужно... мне все равно — только правду...

— Нет.

— Нет? Но почему же — раз уж вы пошли туда и сообщили...

Нижняя губа у ней — вдруг наизнанку, как у того мальчишки — и из щек, по щекам капли...

— Потому что я... я боялась, что если ее... что за это вы можете... вы перестанете лю... О, я не могу — я не могла бы!

Я понял: это — правда. Нелепая, смешная, человеческая правда! Я открыл дверь.

Запись 36-ая.
Конспект:

ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ. ХРИСТИАНСКИЙ БОГ. О МОЕЙ МАТЕРИ.

Тут странно — в голове у меня, как пустая, белая страница: как я туда шел, как ждал (знаю, что ждал) — ничего не помню, ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста. Как будто были перерезаны все провода между мною и миром.

Очнулся — уже стоя перед Ним, и мне страшно поднять глаза: вижу только Его огромные, чугунные руки — на коленях. Эти руки давили Его самого, подгибали колени. Он медленно шевелил пальцами. Лицо — где-то в тумане, вверху, и будто вот только потому, что голос Его доходил ко мне с такой высоты— он не гремел как гром, не оглушал меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий голос.

— Итак — вы тоже? Вы — Строитель «Интеграла»? Вы — кому дано было стать величайшим конквистадором. Вы — чье имя должно было начать новую, блистательную главу истории Единого Государства... Вы?

Кровь плеснула мне в голову, в щеки — опять белая страница: только в висках — пульс, и вверху гулкий голос, но ни одного слова. Лишь когда он за-

молк, я очнулся, я увидел: рука двинулась стопудово — медленно поползла — на меня уставился палец.

— Ну? Что же вы молчите? Так или нет? Палач?

— Так, — покорно ответил я. И дальше ясно слышал каждое Его слово.

— Что же? Вы думаете — я боюсь этого слова? А вы пробовали когда-нибудь содрать с него скорлупу и посмотреть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните: синий холм, крест, толпа. Одни — вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех, верхних — самая трудная, самая важная. Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? Они были освистаны темной толпой: но ведь за это автор трагедии — Бог — должен еще щедрее вознаградить их. А сам христианский, милосерднейший Бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных — разве он не палач? И разве сожженных христианами на кострах меньше, чем сожженных христиан? А все-таки — поймите это, все-таки этого Бога веками славили, как Бога любви. Абсурд? Нет, наоборот: написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека. Даже тогда — дикий, лохматый — он понимал: истинная, алгебраическая любовь к человечеству — непременно бесчеловечна, и непременный признак истины — ее жестокость. Как у огня — непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне не жгучий огонь? Ну, — доказывайте же, спорьте!

Как я мог спорить? Как я мог спорить, когда это были (прежде) мои же мысли — только я никогда не умел одеть их в такую кованую, блестящую броню. Я молчал...

— Если это значит, что вы со мной согласны — так давайте говорить, как взрослые, когда дети ушли

спать: все до конца. Я спрашиваю: о чем люди — с самых пеленок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье — и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные, с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи... И вот, в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так (— Его рука сжалась: если бы в ней был камень — из камня брызнул бы сок), когда уже осталось только освежевать добычу и разделить ее на куски — в этот самый момент вы — вы...

Чугунный гул внезапно оборвался. Я — весь красный, как болванка на наковальне под бухающим молотом. Молот молча навис, и ждать,—это еще... страш...

Вдруг:

— Вам сколько лет?

— Тридцать два.

— А вы ровно вдвое — шестнадцатилетне наивны! Слушайте: неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, что ведь им — мы еще не знаем их имен, но уверен, от вас узнаем, — что им вы нужны были только как Строитель «Интеграла» — только для того, чтобы через вас...

— Не надо! Не надо, — крикнул я.

... Так же, как заслониться руками и крикнуть это пуле: вы еще слышите свое смешное «не надо», а пуля — уже прожгла, уже вы корчитесь на полу.

Да, да: Строитель «Интеграла»... Да, да... и тотчас же: разъяренное, со вздрагивающими кирпично-красными жабрами лицо Ю — в то утро, когда они обе вместе у меня в комнате...

Помню очень ясно: я засмеялся — поднял глаза.

Передо мною сидел лысый, сократовски-лысый человек, и на лысине — мелькие капельки пота.

Как все просто. Как все величественно-банально и до смешного просто.

Смех душил меня, вырывался клубами. Я заткнул рот ладонью и опрометью кинулся вон.

Ступени, ветер, мокрые, прыгающие осколки огней, лиц, и на бегу: «Нет! Увидеть ее! Только еще раз увидеть ее!».

Тут — снова пустая, белая страница. Помню только: ноги. Не люди, а именно — ноги: нестройно топающие, откуда-то сверху падающие на мостовую сотни ног, тяжелый дождь ног. И какая-то веселая, озорная песня, и крик — должно-быть мне: «Эй! Эй! Сюда, к нам!».

Потом — пустынная площадь, до верху набитая тугим ветром. Посредине — тусклая, грузная, грозная громада: Машина Благодетеля. И от нее — во мне такое, как будто неожиданное, эхо: ярко-белая подушка; на подушке закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов... И все это как-то нелепо, ужасно связано с Машиной — я знаю как, но я еще не хочу увидеть, назвать вслух — не хочу, не надо.

Я закрыл глаза, сел на ступенях, идущих наверх, к Машине. Должно быть шел дождь: лицо у меня мокрое. Где-то далеко, глухо — крики. Но никто не слышит, никто не слышит, как я кричу: спасите же меня от этого — спасите!

Если бы у меня была мать — как у древних: моя— вот именно — мать. И чтобы для нее — я не Строитель «Интеграла», и не нумер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок — кусок ее же самой — истоптанный, раздавленный, вы-

брошенный... И пусть я прибиваю или меня прибивают — может быть, это одинаково — чтобы она услышала то, чего никто не слышит, чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами, губы —

Запись 37-ая.
Конспект:

ИНФУЗОРИЯ. СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ. ЕЕ КОМНАТА.

Утром в столовой — сосед слева испуганно шепнул мне:

— Да ешьте же! На вас смотрят!

Я — изо всех сил — улыбнулся. И почувствовал это — как какую-то трещину на лице: улыбаюсь — края трещины разлезаются все шире — и мне от этого все больнее...

Дальше — так: едва я успел взять кубик на вилку, как тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула о тарелку — и вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда, воздух, и снаружи — какой-то огромный, до неба, железный круглый гул — через головы, через дома — и далеко замер чуть заметными, мелкими, как на воде, кругами.

Я увидел во мгновение слинявшие, выцветшие лица, застопоренные на полном ходу рты, замерзшие в воздухе вилки.

Потом все спуталось, сошло с вековых рельс, все вскочили с мест (не пропев гимна) — кое-как, не в такт, дожевывая, давясь, хватались друг за друга: «Что? Что случилось? Что?» И — беспорядочные осколки некогда стройной великой Машины — все посыпались вниз, к лифтам — по лестнице — ступени —

топот — обрывки слов — как клочья разорванного и взвихренного ветром письма...

Так же сыпались изо всех соседних домов, и через минуту проспект — как капля воды под микроскопом: запертые в стеклянно-прозрачной капле инфузории растерянно мечутся вбок, вверх, вниз.

— Ага, — чей-то торжествующий голос — передо мною затылок и нацеленный в небо палец — очень отчетливо помню желто-розовый ноготь и внизу ногтя — белый, как вылезающий из-за горизонта, полумесяц. И это как компас: сотни глаз, следуя за этим пальцем, повернулись к небу.

Там, спасаясь от какой-то невидимой погони, мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи — и окрашенные тучами, темные аэро Хранителей с свисающими черными хоботами труб — и еще дальше — там, на западе, что-то похожее —

Сперва никто не понимал, что это — не понимал даже и я, кому (к несчастью) было открыто больше, чем всем другим. Это было похоже на огромный рой черных аэро: где-то в невероятной высоте — еле заметные быстрые точки. Все ближе; сверху хриплые, гортанные капли — наконец, над головами у нас птицы. Острыми, черными, пронзительными, падающими треугольниками заполнили небо, бурей сбивало их вниз, они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы.

— Ага-а, — торжествующий затылок повернулся — я увидел того, исподлобного. Но в нем теперь осталось от прежнего только одно какое-то заглавие, он как-то весь вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у него — около глаз, около губ — пучками волос росли лучи, он улыбался.

— Вы понимаете, — сквозь свист ветра, крыльев, карканье, — крикнул он мне. — Вы понимаете: Стену — Стену взорвали! По-ни-ма-ете?

Мимоходом, где-то на заднем плане, мелькающие фигуры — головы вытянуты — бегут скорее внутрь, в дома. Посредине мостовой — быстрая, и все-таки будто медленная (от тяжести) лавина оперированных, шагающих туда — на запад.

... Волосатые пучки лучей около губ, глаз. Я схватил его за руку:

— Слушайте: где она — где I? Там, за Стеной — или... Мне нужно, — слышите? Сейчас же, я не могу...

— Здесь, — крикнул он мне пьяно, весело — крепкие, желтые зубы... — Здесь она, в городе, действует. Ого — мы действуем!

Кто — мы? Кто — я?

Около него — было с полсотни таких же, как он — вылезших из своих темных подлобий, громких, веселых, крепкозубых. Глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая такими на вид смирными и нестрашными электрокуторами (где они их достали?), — они двинулись туда же, на запад, за оперированными, но в обход — параллельным, 48-м проспектом...

Я спотыкался о тугие, свитые из ветра канаты и бежал к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался, пустые улицы, чужой, дикий город, неумолчный, торжествующий птичий гам, светопреставление. Сквозь стекло стен — в нескольких домах я видел (врезалось): женские и мужские нумера бесстыдно совокуплялись — даже не спустивши штор, без всяких талонов, среди бела дня...

Дом — ее дом. Открытая настежь, растерянная дверь. Внизу, за контрольным столиком — пусто. Лифт застрял по середине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор. Быстро — как колесные спицы — цифры на дверях: 320, 326, 330... I-330, да!

И сквозь стеклянную дверь: все в комнате рассыпано, перепутано, скомкано. Впопыхах опрокинутый стул — ничком, всеми четырьмя ногами вверх — как издохшая скотина. Кровать — как-то нелепо, наискось отодвинутая от стены. На полу — осыпавшиеся, затоптанные лепестки розовых талонов.

Я нагнулся, поднял один, другой третий: на всех было Д-503 — на всех был я — капли меня, расплавленного, переплеснувшего через край. И это все, что осталось...

Почему-то нельзя было, чтобы они так вот, на полу, и чтобы по ним ходили. Я захватил еще горсть, положил на стол, разгладил осторожно, взглянул — и... засмеялся.

Раньше я этого не знал — теперь знаю, и вы это знаете: смех бывает разного цвета. Это — только далекое эхо взрыва внутри вас: может быть — это праздничные, красные, синие, золотые ракеты, может быть — взлетели вверх клочья человеческого тела...

На талонах мелькнуло совершенно незнакомое мне имя. Цифр я не запомнил — только букву: Ф. Я смахнул все талоны со стола на пол, наступил на них — на себя « каблуком — вот так, так — и вышел...

Сидел в коридоре на подоконнике против двери — все чего-то ждал, тупо, долго. Слева зашлепали шаги. Старик: лицо — как проколотый, пустой, осевший складками пузырь — и из прокола еще сочится что-то прозрачное, медленно стекает вниз. Медленно, смутно понял: слезы. И только когда старик был уже далеко — я спохватился и окликнул его:

— Послушайте — послушайте, вы не знаете: нумер I-330...

Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял дальше...

В сумерках я вернулся к себе, домой. На западе

небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой — и оттуда глухой, закутанный гул. Крыши усыпаны черными потухшими головешками: птицы.

Я лег на кровать — и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон...

Запись 38-ая.
Конспект:

(НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ. МОЖЕТ БЫТЬ, ВЕСЬ КОНСПЕКТ — ОДНО: БРОШЕННАЯ ПАПИРОСКА).

Очнулся — яркий свет, глядеть больно. Зажмурил глаза. В голове — какой-то едучий синий дымок, все в тумане. И сквозь туман:

«Но ведь я не зажигал свет — как же...».

Я вскочил — за столом, подперев рукою подбородок, с усмешкой глядела на меня I...

За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти десять-пятнадцать минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину. А мне кажется, что вот только сейчас закрылась за ней дверь, и еще можно догнать ее, схватить за руки — и может быть, она засмеется и скажет...

I сидела за столом. Я кинулся к ней.

— Ты, ты! Я был — я видел твою комнату — я думал, ты — —

Но на полдороге наткнулся на острые, неподвижные копья ресниц, остановился. Вспомнил: так же она взглянула на меня тогда, на «Интеграле». И вот

надо сейчас же все, в одну секунду, суметь сказать ей — так, чтобы поверила — иначе уж никогда...

— Слушай, I — я должен... я должен тебе все... Нет, нет, я сейчас — я только выпью воды...

Во рту — сухо, все как обложено промокательной бумагой. Я наливал воду — и не могу: поставил стакан на стол и крепко взялся за графин обеими руками.

Теперь я увидел: синий дымок — это от папиросы. — Она поднесла к губам, втянула, жадно проглотила дым — так же, как я воду, и сказала:

— Не надо. Молчи. Все равно — ты видишь: я все-таки пришла. Там, внизу — меня ждут. И ты хочешь, чтоб эти наши последние минуты...

Она швырнула папиросу на пол, вся перевесилась через ручку кресла назад (там в стене кнопка, и ее трудно достать) — и мне запомнилось, как покачнулось кресло и поднялись от пола две его ножки. Потом упали шторы.

Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье — медленный, нежный, теплый, обволакивающий все яд...

И вдруг... Бывает: уж весь окунулся в сладкий и теплый сон — вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять глаза широко раскрыты... Так сейчас: на полу в ее комнате затоптанные розовые талоны, и на одном: буква Ф и какие-то цифры... Во мне они — сцепились в один клубок, и я даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство, но я стиснул ее так, что она от боли вскрикнула...

Еще одна минута — из этих десяти или пятнадцати, на ярко-белой подушке — закинутая назад с по-

лузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов. И это все время неотвязно, нелепо, мучительно напоминает мне о чем-то, о чем нельзя, о чем сейчас — не надо. И я все нежнее, все жесточе сжимаю ее — все ярче синие пятна от моих пальцев...

Она сказала (не открывая глаз — это я заметил):

— Говорят, ты вчера был у Благодетеля? Это правда?

— Да, правда.

И тогда глаза распахнулись — и я с наслаждением смотрел, как быстро бледнело, стиралось, исчезало ее лицо: одни глаза.

Я рассказал ей все. И только — не знаю, почему... нет, неправда, знаю — только об одном промолчал — о том, что Он говорил в самом конце, о том, что я им был нужен только...

Постепенно, как фотографический снимок в проявителе, выступило ее лицо: щеки, белая полоска зубов, губы. Встала, подошла к зеркальной двери шкафа.

Опять сухо во рту. Я налил себе воды, но пить было противно — поставил стакан на стол и спросил:

— Ты за этим и приходила — потому что тебе нужно было узнать?

Из зеркала на меня — острый, насмешливый треугольник бровей, приподнятых вверх, к вискам. Она обернулась, что-то сказать мне, но ничего не сказала.

Не нужно. Я знаю.

Проститься с ней? Я двинул свои — чужие — ноги, задел стул, — он упал ничком, мертвый, как там — у нее в комнате. Губы у нее были холодные — когда-то

такой же холодный был пол вот здесь, в моей комнате возле кровати.

А когда ушла — я сел на пол, нагнулся над брошенной ее папиросой. —

Я не могу больше писать — я не хочу больше!

Запись 39-ая.
Конспект:

КОНЕЦ.

Все это было, как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор: быстро, колючась иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все решено — и завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя — но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть.

На западе, ежесекундно в синей судороге содрогалось небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю ночь и заснул только часов в семь утра, когда тьма уже втянулась, зазеленела и стали видны усеянные птицами кровли...

Проснулся: уже десять (звонка сегодня, очевидно, не было). На столе — еще со вчерашнего — стоял стакан с водой. Я жадно выглотал воду и побежал: мне надо было все это скорее, как можно скорее.

Небо — пустынное, голубое, до тла выеденное бурей. Колючие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха — тонкое — страшно притронуться: сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью. И такое — во мне: нельзя думать, не надо думать, не надо думать, иначе —

И я не думал, даже, может быть, не видел по настоящему, а только регистрировал. Вот на мостовой — откуда-то ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые. Вот, наверху — перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот — головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть, все это орет, каркает, жужжит...

Потом — пустые, как выметенные какой-то чумой, улицы. Помню: споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное. Нагнулся: труп. Он лежал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина. Лицо...

Я узнал толстые, негрские, и как будто даже сейчас еще брызжущие смехом, зубы. Крепко зажмуривши глаза, он смеялся мне в лицо. Секунда — я перешагнул через него и побежал — потому что я уже не мог, мне надо было сделать все скорее, иначе — я чувствовал— сломаюсь, прогнусь, как перегруженный рельс...

К счастью — это было уже в двадцати шагах, уже вывеска — золотые буквы «Бюро Хранителей». На пороге я остановился, хлебнул воздуху, сколько мог — и вошел.

Внутри, в коридоре — бесконечной цепью, в затылок, стояли нумера, с листками, с толстыми тетрадками в руках. Медленно подвигались на шаг, на два — и опять останавливались.

Я заметался вдоль цепи, голова расскакивалась, я хватал их за рукава, я молил их — как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что секундной острейшей мукой сразу перерубило бы все.

Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх юнифы, отчетливо выпячены два седалищных полушара, и она все время поводила ими по сторонам,

как будто именно там у нее были глаза. Она фыркнула на меня:

— У него живот болит! Проводите его в уборную — вон, вторая дверь направо...

И на меня — смех: и от этого смеха что-то к горлу, и я сейчас закричу или... или...

Вдруг, сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся: прозрачные, крылатые уши. Но они были не розовые, как обыкновенно, а пунцовые: кадык на шее ерзал — вот-вот прорвет тонкий чехол.

— Зачем вы здесь? — спросил он, быстро ввинчиваясь в меня.

Я так и вцепился в него:

— Скорее — к вам в кабинет... Я должен все — сейчас же! Это хорошо, что именно вам... Это, может быть, ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо...

Он тоже знал е е, и от этого мне было еще мучительней, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем, я не буду один в эту последнюю мою секунду...

Захлопнулась дверь. Помню: внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка и заскребла на полу, когда дверь закрывалась, а потом, как колпаком, накрыло какой-то особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть одно слово — все равно какое — самое пустяковое слово, я бы все сдвинул сразу. Но он молчал.

И весь, напрягшись до того, что загудело в ушах — я сказал (не глядя):

— Мне кажется — я всегда ее ненавидел, с са-

мого начала. Я боролся... А впрочем — нет, нет, не верьте мне: я мог и не хотел спастись, я хотел погибнуть, это было мне дороже всего... то есть не погибнуть, а чтобы она... И даже сейчас — даже сейчас, когда я уже все знаю... Вы знаете, вы знаете, что меня вызывал Благодетель?

— Да, знаю.

— Но то, что Он сказал мне... Поймите же — это вот все равно, как если сейчас выдернуть из-под вас пол — и вы со всем, что вот тут на столе — с бумагой, чернилами... чернила выплеснутся и все в кляксу...

— Дальше, дальше! И торопитесь. Там ждут другие.

И тогда я — захлебываясь, путаясь — все что было, все, что записано здесь. О себе настоящем и о себе лохматом, и то, что она сказала тогда о моих руках — да, именно с этого все и началось — и как я тогда не хотел исполнить свой долг, и как обманывал себя, и как она достала подложные удостоверения, и как я ржавел день ото дня, и коридоры внизу, и как там — за Стеною...

Все это — несуразными комьями, клочьями — я захлебывался, слов не хватало. Кривые, двоякоизогнутые губы с усмешкой пододвигали ко мне нужные слова — я благодарно кивал: да, да... И вот (что же это?) — вот уже говорит за меня он, а я только слушаю: «Да, а потом... Так именно и было, да, да!»

Я чувствую: как от эфира — начинает холодеть вот тут, вокруг ворота, и с трудом спрашиваю:

— Но как же — но этого вы ни откуда не могли...

У него усмешка — молча — все кривее... И затем:

— А знаете — вы хотели кой-что от меня утаить, вот вы перечислили всех, кого заметили там за Стеной, но одного забыли. Вы говорите — нет? А не помните ли вы, что там мельком, на секунду — вы видели там... меня? Да, да: меня.

Пауза.

И вдруг — мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно: он — он тоже их... И весь я, все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил, принес сюда, как подвиг — все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам — весь в холодном поту — уже замахнулся ножом над своим сыном — над собою — вдруг сверху голос: «Не стоит! Я пошутил...»

Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, я уперся руками о край стола, медленно, медленно вместе с креслом отъехал, потом сразу — себя всего — схватил в охапку — и мимо криков, ступеней, ртов — опрометью.

Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей истории цивилизация, а здесь — по чьей-то иронии — все оставалось прежним, прекрасным. И подумать: все это — осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом — будут только «мифы»...

Я громко застонал. И в тот же момент чувствую — кто-то ласково поглаживает меня по плечу.

Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб — огромная лысая парабола, на лбу желтые неразборчивые строки морщин. И эти строки обо мне.

— Я вас понимаю, вполне понимаю, — сказал он. — Но все-таки успокойтесь: не надо. Все это вернет-

ся, неминуемо вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем открытии. Я говорю об этом вам первому: я вычислил, что бесконечности нет!

Я дико посмотрел на него.

— Да, да говорю вам: бесконечности нет. Если мир бесконечен — то средняя плотность материи в нем должна быть равна нулю. А так как она не нуль — это мы знаем — то, следовательно, вселенная — конечна, она — сферической формы и квадрат вселенского радиуса, y^2 = средней плотности, умноженной на... Вот мне только и надо — подсчитать числовой коэффициент, и тогда... Вы понимаете: все — конечно, все просто, все — вычислимо; и тогда мы победим философски, — понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне закончить вычисление, вы — кричите...

Не знаю, чем я больше был потрясен: его открытием или его твердостью в этот апокалиптический час: в руках у него (я увидел это только теперь) была записная книжка и логарифмический циферблат. И я понял: если даже все погибнет, мой долг (перед вами, мои неведомые, любимые) — оставить свои записки в законченном виде.

Я попросил у него бумаги — и здесь я записал эти последние строки...

Я хотел уже поставить точку — так, как древние ставили крест над ямами, куда они сваливали мертвых, но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев...

— Слушайте, — дергал я соседа. — Да слушайте же, говорю вам! Вы должны — вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная вселенная? Что там — дальше?

Ответить он не успел; сверху — по ступеням — топот — —

Запись 40-ая.
Конспект:

ФАКТЫ. КОЛОКОЛ. Я УВЕРЕН.

День. Ясно. Барометр 760.

Неужели я, Д-503, написал эти двести двадцать страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал — или воображал, что чувствую это?

Почерк — мой. И дальше — тот же самый почерк, но — к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь — я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться (улыбка — есть нормальное состояние нормального человека).

Факты — таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конечность вселенной, и меня, и всех, кто был с нами — взяли, как не имеющих удостоверения об Операции — и отвезли в ближайший аудиториум (нумер аудиториума — почему-то знакомый: 112). Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты Великой Операции.

На другой день, я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа).

Вечером в тот же день — за одним столом с Ним, с Благодетелем — я сидел (впервые) в знаменитой Газовой комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта

женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у ней острые и очень белые зубы и что это красиво.

Затем ее ввели под колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие — то это было очень красиво. Когда из-под колокола стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты — это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла — смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза — и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля.

Откладывать нельзя — потому что в западных кварталах — все еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению — значительное количество нумеров, изменивших разуму.

Но на поперечном, 40-м, проспекте, удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить.

Послесловие

ВЕКА И ДЕСЯТИЛЕТИЯ *)

Свою статью о творчестве Герберта Уэллса («Генеалогическое древо Уэллса») Замятин начинает так: «Для аристократии феодальной и для аристократии духа — гениев и талантов — основы «знатности» полярно противоположны. Слава аристократа феодального в том, чтобы быть звеном в цепи предков как можно более длинной; слава аристократа духа в том, чтобы не иметь предков — или иметь их как можно меньше. Если художник — сам себе предок, если он имеет только потомков, — входит в историю гением; если предков у него мало и родство с ними отдаленное — он входит в историю, как талант».

Далее Замятин говорит, что, в сущности, есть два Уэллса: «один — обитатель нашего трехмерного мира, автор бытовых романов; другой — обитатель мира четырех измерений, путешественник во времени, автор научно-фантастических и социально-фантастических сказок. Первый Уэллс — новых земель не открыл: у этого Уэллса много знатной родни. Второй Уэллс — с предками связан очень отдаленными родственными узами, и он почти один создал новый литературный жанр».

Сам Замятин, как и Уэллс, отчетливо выступает в двух литературных ипостасях. Если первый Уэллс, «только одна из ветвей от мощного ствола Диккенса», наряду с такими — более пышными — ветвями, как Эллиот, Мэредит, Харди, Бэннэт, Голсуорси и, отчасти, Б. Шоу, то Замятин номер один вырос из корней, ответвившихся от творчества Лескова и Гоголя, находясь во вполне заметном родстве с такими писателями, как Ре-

*) Опубликовано впервые в журнале «Грани» № 56, 1964 г.

мизов, Белый, Пильняк, Пришвин и многие другие. Зато другой Замятин, автор рассказов о Фите и книги «Мы», подобно второму Уэллсу, связан со своими литературными предшественниками родством гораздо более сложным и тонким. Прямых предков у него тоже нет, хотя за его спиной и стоит «длинный ряд теней», конец которого скрывается в расплывчатой глубине веков. Правда, для энергичного Фиты, в революционном рвении «строжайше отменившего эпидемии голода и холеры», не так уж трудно подобрать старшего двоюродного братца в лице глуповского градоначальника; но безымянные «мы», жители «Единого Государства», прозябающие в условиях «математически-безошибочного счастья», так же новы, как и современные «строители социализма».

Вместе с тем социальная утопия, мечта об идеальном общественном устройстве, выраженная в литературной форме, и противопоставленная ей антиутопия, — «аипоту», как иногда называют этот литературный жанр, значительно древнее даже, чем знаменитое произведение Томаса Мора «De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia», появившееся, как известно, в 1516 году, т. е. без малого полтысячи лет назад. Нет надобности указывать и вспоминать, что античная литература знала немало произведений утопического характера, из которых самым известным является описание совершенного полиса в Платоновском «Государстве», но, ведь, и противоположное направление, «аипоту», представлено в этой литературе достаточно богато. Типичную карикатуру на современные ему утопии можно усмотреть в комедии Аристофана «Женщины в народном собрании» (392 г. до Р. Х.), где в комической форме описывается, как женщины, захватив власть в городе, устанавливают общность имущества и даже общность мужей. Элементы антиутопии есть и в других комедиях этого автора — «Птицы», «Плутос» и т. д. Пародийный и антиутопический характер имеют некоторые произведения Лукиана, как, например, «Правдивая история», где герой попада-

ет на «острова блаженных», и т. д. В дальнейшем обе эти линии в мировой литературе — утопия и антиутопия — продолжают развиваться и процветать, доходя практически до нашего времени. В качестве одного из недавних представителей и того, и другого жанра одновременно можно назвать хотя бы уже упомянутого выше Уэллса.

Говоря об Уэллсе, Замятин утверждает, что «единственная его утопия — это его последний роман — «Люди как боги». Только в нем «увидим мы слащавые розовые краски утопий». Это не совсем так. Кроме романа «Люди как боги», написанного в 1923 году, утопические элементы, — в виде утопических концов, например, — щедро разбросаны во многих других художественных произведениях Герберта Уэллса: «Во дни кометы» (1906 г.), «Освобожденный мир» (1914 г.), «Облик грядущего» (1935 г.), «Рожденные звездой» (1937 г.) и т. д. Некоторые из этих книг Замятин, разумеется, не мог знать, так как они появились на свет уже после того, как он написал свою статью. Тем не менее он совершенно прав, когда — со свойственным ему пристрастием к математическим формулировкам — заявляет: «Вообще же социально-фантастические романы Уэллса от утопий отличаются настолько же, насколько + А отличается от − А». И «Машина времени», и «Борьба миров», и «Первые люди на Луне», и «Война в воздухе» — все это, несомненно, утопии со знаком минус, т. е. антиутопии, в которых изображается отнюдь не светлое и безмятежное будущее».

В чем же заключается принципиальное отличие «второго Замятина», автора романа «Мы», от всех предшествующих ему антиутопистов, столь разнообразных и непохожих друг на друга, растянувшихся на протяжении веков от Аристофана до Герберта Уэллса? Что нового внес он в этот жанр, «аипоту», по древности своей родословной не уступающий и самой утопии? Прежде всего следует, разумеется, заметить, что, находясь лишь в косвенном родстве со своими литературными предками, Замятин не одинаково далек от них. В определенном

отношении ближе всего стоит он именно к Уэллсу, прозревшему кое-что из того, что дано было увидеть Замятину. Недаром же в цитированной выше статье («Генеалогическое дерево Уэллса») Замятин сам указывает, что этот автор повлиял на него, говоря об этом, правда, лишь в связи с возникновением в России жанра «литературной фантастики» и ставя свой роман «Мы» в один ряд со столь далекими от него произведениями, как романы А. Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина»*) или «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.» И. Эренбурга. Есть у Замятина заметные черты сходства и с другими, близкими к нему по времени писателями — антиутопистами, как, например, чехом Карелом Чапеком, автором социально-фантастической пьесы «Р. У. Р.» и романов «Фабрика абсолюта», «Кракатит» и «Война с саламандрами», последние из которых были опубликованы уже после «Мы». Тем не менее разница между Замятиным и предшествующими или современными ему пророками печального будущего человечества, выражавшими свои мрачные прогнозы в художественной форме, приблизительно такова же, какова разница между «утопическим социализмом» Сен-Симона, Фурье, Роберта Оуэна или сектантских коммун — с одной стороны и, так называемым, «научным социализмом» Маркса, Ленина и их последователей — с другой.

Дело тут, понятно, не в терминологии: у Сен-Симона «научности», пожалуй, еще больше, чем у Маркса. Наука объективна и не претендует на непогрешимость. Современный торжествующий марксизм, по крайней мере в большевистской интерпретации, не допускающий никакой полемики, отрицающий всякое право открыто себя «ревизовать» или сомневаться в основных догмах, объявляющий всех своих критиков «врагами народа» и «прислужниками буржуазии» — уж никак не наука.

---

*) В статье Замятина этот роман А. Толстого назван просто — «Гиперболоид» — В. В.

Дело совершенно в другом. Утопический социализм *мечтал* о преобразовании мира на коллективных началах или делал слабые попытки достичь своей цели мирным и добровольным путем. Марксистско-ленинский социализм взялся за работу всерьез, в исполинских масштабах и на основах весьма далеких от всякой добровольности или миролюбия. Поэтому над утопическим социализмом можно было добродушно иронизировать, указывать на его несбыточность и химеричность или рисовать нелепые, смешные картины того, что бы произошло, если бы осуществились фантастические, сказочные мечты прекраснодушных утопистов. По отношению к современному тоталитарному социализму (или тому, что скрывается под его маской) легкая ирония и сослагательное наклонение так же неуместны, как по отношению к возможности смертельного исхода тяжкой, изнурительной болезни, уже охватившей организм. Грозное «если» сменяет тут скептическое «если бы».

Литературные антиутопии былых времен были столь же нереальны, как и сами утопии. Если Томас Мор назвал свой счастливый остров греческим словом, обозначающим «Нигде», то авторы многих «аипоту», поскольку дело касалось грядущих бед и нелепостей жизни в социалистическом или коллективистическом обществе, могли бы назвать свои произведения — «Никогда». Они сами ни на минуту не сомневались, что всего этого, конечно, не может быть на самом деле. Они боролись с идеями или проектами, которые казались им вредными или смешными, а отнюдь не предсказывали будущее. Грозные ноты звучали лишь у тех писателей этого жанра, которые обличали не социализм, а другие общественные системы или явления. Источники грядущей опасности видели в различных религиях или, напротив, их упадке, национализме, власти толпы, нашествии желтокожих или других иноплеменных, чрезмерном развитии техники — в чем угодно, только не в социализме. Больше всего, конечно, подвергался «разоблачению» капитализм, который, как в «Машине времени» Уэллса,

должен был якобы в конце концов привести к гибели цивилизации и распаду общества на бездельников-элоев и звероподобных морлоков. Лишь на закате своей жизни разглядел Уэллс некоторые черты подлинной опасности, ожидающей свободный мир за ближайшим углом времени. Однако, заметив облик грядущего тоталитаризма в виде страшного чудовища, выползающего из «Каинова болота» (повесть «Игрок в крокет», 1937 г.), он, как и Карел Чапек в «Войне с саламандрами», полагал, что угроза идет только со стороны фашизма. Главной раковой опухоли на теле челевечества Уэллс не заметил и, посетив Москву в 1920 году, написал маленькую книжку «Россия во мгле», где с традиционной снисходительностью отнесся к «утопическим планам» большевиков, а Ленина назвал «кремлевским мечтателем». Даже в 1934 году, когда в Советском Союзе уже была проведена коллективизация сельского хозяйства и окончательно сложился тоталитарный строй, Уэллс в беседе со Сталиным продолжал оспаривать лишь методы коммунистов, не возражая против их целей и не видя, куда эти цели ведут.

Первенство Замятина как писателя-антиутописта, его своеобразие заключается в том, что он коренным образом обновил и видоизменил весь многовековой жанр «аипоту». Роман «Мы», написанный по свидетельству самого Замятина в 1920 году («Письмо к Сталину», июнь, 1931 г.), направлен не против литературных проектов счастливого социалистического будущего, не против воображаемых грядущих бедствий; нет, он направлен *против* самого этого *социалистического будущего*, вполне возможного и уже сделавшего первый шаг к своему осуществлению. Вот почему, несмотря на импрессионистическую, почти сюрреалистическую манеру письма, роман «Мы» производит впечатление жуткой реальности. Как Уэллс сумел предвидеть многие успехи техники, конкретно, образно представить себе то, чего еще не было даже на чертежных досках изобретателей, так и Замятин смог силой своего таланта уловить дух, самую

атмосферу законченного тоталитарного общества, когда оно еще только зарождалось. Вот что пишет герой его романа, безымянный гражданин страны построенного коммунизма, об отношениях человека и государства:

«...Даже у древних — наиболее взрослые знали: источник права — сила, право — функция от силы. И вот — две чашки весов: на одной грамм, на другой — тонна, на одной «я», на другой «Мы», Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству и допускать, что грамм может уравновесить тонну — это совершенно одно и то же. Отсюда — распределение: тонне — права, грамму — обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты грамм и почувствовать себя миллионой долей тонны...». (стр. 100)*).

Или в другом месте, в связи со случайной гибелью на работе «десяти зазевавшихся нумеров», т. е. безликих жителей будущей коммунистической страны, от которых «ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи»:

«Десять нумеров — это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах — это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически-безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна» (стр. 93).

Конечно, тенденция к полному порабощению человека государством и презрение к человеческим страданиям были характерны для советского режима уже в самый начальный его период. Однако многим казалось, что все это — явления временные, преходящие, вызванные гражданской войной и разрухой. Не надо забывать, что теория о постепенном отмирании государства в так называемом «бесклассовом обществе» является одной из главнейших марксистских догм. Замятин видел уже то-

*) Здесь и в дальнейшем цитаты даны по нашему изданию романа.

гда, что тоталитарное государство со временем не только не отомрет, но, укрепившись, превратится в усовершенствованную коммунистическую казарму, где вся жизнь будет подчинена «Часовой Скрижали», т. е. правительственному плану, а население станет жить в состоянии «идеальной несвободы». Тех же граждан, у которых «откуда-то со дна, из мохнатых глубин» души поднимутся вольные мысли и желания, власть будет беспощадно уничтожать, как испорченные детали единой Машины:

«...для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт — у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...» (стр. 16).

В то время, когда Замятин писал эти строки (1920 г.), «хранители» были представлены «драконом с винтовкой» (см. рассказ Замятина «Дракон»), у которого «картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если бы не уши: на оттопыренных ушах картуз засел. Шинель болталась по полу; рукава свисали; носки загибались кверху — пустые». Не так просто было понять, что эти драконы, отправляющие человека «штычком без пересадки в царствие небесное» лишь за то, что у него «морда интеллигентная», не исчезнут вместе со своими непомерными картузами и долгополыми шинелями, а превратятся в вышколенных и подтянутых палачей, вооруженных по последнему слову техники.

Фигура «Благодетеля» тоже тогда была еще далеко не ясна. Существовал Ленин с тоталитарными замашками, но он еще не успел превратиться в живое божество, и только некоторые, наиболее прыткие «нумера» из литературной братии, вроде Валерия Брюсова, начинали слагать в его честь оды. Настоящий, непререкаемый «Благодетель» с тяжкой рукой завелся в Советском государстве лишь десять лет спустя.

Приблизительно в то же время, когда Замятин работал над романом «Мы», он написал рассказ «Пещера», где изображен голодный, коченеющий от холода Пет-

роград эпохи военного коммунизма. Рафинированные интеллигенты превратились в жалких пещерных дикарей, приносящих коленопреклоненные жертвы своему жадному божеству — печке. Чтобы спастись от мороза, они построили в своих комнатах-пещерах юрты из ковров и стульев, изредка вызывая «великое огненное чудо», когда можно сбросить с себя звериные шкуры и благоговейно насладиться теплом. Поразительно, что, сидя в одной из таких пещер, среди «темных, обледенелых скал, похожих на дома», Замятин сумел распознать не только общие очертания, но даже некоторые детали «завершенного коммунизма», организованного, как машина, тоталитарного общества. Он предвидел и «Единую Государственную Науку, которая не может ошибаться», и поэзию, которая перестает быть «беспардонным соловьиным свистом», а становится государственной службой, и жизнь без права передвижения — за «Зеленой Стеной», и обязанность граждан «счастливого государства» при малейшем сомнении немедленно бежать в «Бюро Хранителей» с доносом на своих друзей.

До жути современно звучит начало романа «Мы». Первая страница открывается выдержкой из «Государственной Газеты», где от имени «Благодетеля» сообщается «всем нумерам Единого Государства», что постройка «электрического, огнедышащего Интеграла», т. е. пространственной ракеты, подходит к концу. Назначение этого Интеграла:

«...благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически-безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия — мы испытываем слово» (стр. 5).

Существа, живущие на других планетах, могут быть пока более или менее спокойны, но на людях, «пребывающих в диком состоянии свободы», уже испытывается слово, подкрепленное ракетами, которые предназначены загнать их в социалистический рай и освобо-

дить «от мучительных философских проблем и надрывов». Конечно, многое из того, что описывает Замятин — любовь в специальные «сексуальные дни» по книжке с розовыми талончиками; люди, живущие в стеклянных домах, обедающие по команде, поднося ложку ко рту в одну и ту же секунду, и гуляющие побатальонно с государственными номерами на груди — выглядит гротескно, но не надо забывать, что этого и хотел автор. В новых условиях на смену иронии и добродушному юмору старых антиутопистов приходит горький сарказм, которым Замятин пользуется с большим искусством. Его любимым литературным приемом является пародия на диалектическую «логику» коммунистических доктринеров:

«Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо. Есть запах ландыша — и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве — и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион — это белена, тут шпион — ландыш. Да, ландыш, да!» (стр. 35).

Или:

«...как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова — тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал — о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограммометров — уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шопота волн — добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя — мы сделали домашнее животное; и точно так же у нас приручена и оседлана, когда-то дикая, стихия поэзии» (стр. 61).

Юмора языка, игры слов и игры словами, которые встречаются в других произведениях Замятина как лесковское наследство, в романе «Мы» почти нет совсем. Только однажды его безымянный и пронумерованный

герой (Д-503), с которым случилась большая беда (у него «завелась душа») невольно допускает остроту в своих записях. Упрекая себя в том, что он с недостойной сентиментальностью отметил гибель нескольких рабочих во время испытания ракетного двигателя, Д-503 пишет:

«И мне смешно, что я мог задумываться — и даже записывать на эти страницы — о каком-то жалком сереньком пятнышке, о какой-то кляксе. Это — все то же самое «размягчение поверхности», которая должна быть алмазно-тверда — как наши стены (древняя поговорка: «как об стену горох») (стр. 93).

Но и здесь горького сарказма, конечно, гораздо больше, чем простого юмора.

Если у Замятина как зачинателя новой струи в старом антиутопическом жанре нет прямых предков, то потомки у него уже появились. Может быть, нельзя с достаточным основанием считать таким потомком английского писателя Олдоса Хаксли (Aldous Huxley), написавшего в 1932 году более или менее типичную антиутопию под названием «Brave New World». Сам Хаксли в вышедшей несколько лет назад книжке «Brave New World Revisited» (1958 г.) подчеркнул свое первенство по сравнению с Джорджем Орвеллом (George Orwell), автором «1984», но ничего не сказал о Замятине. Что так называемые «русские проблемы» в какой-то мере повлияли на Хаксли, не подлежит сомнению. Эпиграфом для своего романа он взял слова Бердяева, а главную героиню назвал именем «Ленина». Фигурирует у него и фантастический процесс массового искусственного разведения одинаковых людей «по системе доктора Бокановского», образ которого, по-видимому, навеян фигурой академика И. Павлова, широко известного в то время в Европе по газетным сообщениям. Как бы то ни было, Хаксли если и относится к литературным потомкам Замятина, то лишь к косвенным. «Brave New World» несравненно ближе к традиционной линии «аипоту», чем «Мы». Главным объектом сатиры Хаксли является не будущий социалистический строй, а чрезмерное развитие техники

и некоторые другие стороны западной культуры. В них видит Хаксли основную опасность, угрожающую человечеству во тьме грядущего, а не в тоталитарной диктатуре, основанной на принудительной идеологии и всепроникающем полицейском терроре.

Зато уж несомненным и прямым наследником Замятина можно считать Джорджа Орвелла. Это не значит, конечно, что Орвелл не самостоятелен. В блестящем и талантливом антиутопическом романе Орвелла «1984»*) заметно некоторое влияние Замятина, но прямых заимствований или подражания там нет. Гораздо важнее то, что Орвелл продолжает линию в развитии жанра «аипуту», начатую Замятиным. Как и последний, он не сражается с литературными фикциями, не отгоняет остроумными словами призраки, созданные его собственным или чужим воображением; он видит подлинную, «всамделишную» бездну, в которую катится мир, и вопиет об этой бездне. Всю силу своего большого литературного дарования Орвелл недвусмысленно направляет против тоталитарного социализма, который у него назван по имени.

Уэллс и некоторые другие авторы научно-фантастических романов, правильно предсказавшие многие достижения техники, часто впадали в одну ошибку: они ставили слишком долгие сроки. На деле все осуществлялось гораздо быстрее; требовались не столетия, а короткие годы или десятки лет. Подобно движению свободно падающего тела, развитие науки идет с нарастающей скоростью. То же нередко происходит и с историческими явлениями. Математик Замятин, ставший писателем-пророком, не учел в своих прогнозах момента ускорения. Его Единое Государство, олицетворяющее собой завершенный тоталитарный строй на социалистической основе, удалено от нас почти на тысячу лет. Говоря о

---

*) См. русский перевод В. Андреева и Н. Витова. «Грани». №№ 27-28, 30, 31. — В. Б.

процессе политических выборов в этом мрачном обществе будущего, Замятин пишет:

«Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую чашу согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья. Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать, — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это».

Увы, веков для этого отнюдь не понадобилось, как не понадобились они и для претворения в жизнь ряда других типичных черт Единого Государства. Орвелл, — в чем ему, несомненно, помогла сама история, — ощутил ускорение гораздо живее Замятина. «1984» — это 1984 год не больше, не меньше — анаграмма 1948 года, когда писался роман. Свою антиутопию Эрик Блэр, писавший под псевдонимом «Джордж Орвелл», видел не шагающей «через горы времени», а притаившейся за ближайшим поворотом исторической дороги. Передовые посты этого смрадного «нового мира» уже достигли наших дней. Некоторые из его строителей и многие из его жертв уже, — а, может быть, еще — живут с нами на одной планете. В этом, а не только в разнице художественных стилей двух писателей, заключается причина того, что тоталитарное общество будущего обрисовано у Орвелла значительно конкретнее, чем у Замятина.

Джордж Орвелл не просто реалист. Без ущерба для занимательности и литературных достоинств он превратил свое произведение в нечто среднее между романом и научным трактатом. Если «Мы» читается как правдивое и достоверное предсказание, нечто вроде прогноза социальной погоды, то «1984» производит впечатление отчета о действительных событиях, сопровождаемого

комментариями специалистов. В обрисовке Орвелла даже такое, казалось бы невероятное, явление, как переделка всего человеческого языка (показанная на примере английского), выглядит вполне убедительно, хотя она и должна будто бы произойти всего через несколько десятков лет. Дело в том, что семена или, лучше сказать, целые ростки будущего Орвелл проницательно различает уже в настоящем и наглядно показывает их читателю. В Океании, как называется орвелловская антиутопия, партийная диктатура принудительно заменяет язык культурной части населения искусственным жаргоном, назначение которого — сделать невозможным не только говорить, но даже и мыслить вопреки официальной идеологии. Достигается эта сознательно поставленная цель рядом рассчитанных примеров.

Прежде всего, словарь английского языка резко сокращается: из него удаляются все «ненужные» понятия, имеющие абстрактный характер. Такие слова, как «справедливость», «мораль», «сострадание», «наука», «религия», просто уничтожаются. Зачем, например, нужно слово «наука» как представление о способе мышления, не связанном с определенной отраслью, когда уже в самом названии официальной партийной идеологии — «ангсоц» («Английский социализм»), как в слове «диамат» для современного коммуниста, уже содержится понятие единственно правильного научного метода. Грамматика упрощается до предела, чтобы избежать каких-либо разнотолкований или оттенков высказанной мысли. Слова, необходимые для работы и ежедневного обихода, конечно, сохраняются, но от них отсекаются всякие дополнительные значения. Этому же служат и многочисленные аббревиатуры, при помощи которых сложные словосочетания, богатые ассоциациями, суживаются до размеров ограниченного термина. Все идеи, чуждые «ангсоцу», лишаются своей словесной оболочки и объединяются в общее неопределенное понятие — «старомыслие», имеющее резко отрицательное значение. В результате у людей, говорящих на новом партийном жар-

гоне, хотя и остается теоретическая возможность высказать такую, например, еретическую мысль, как «наш диктатор нехорош», но подкрепить ее разумным рассуждением они все равно не смогли бы из-за отсутствия необходимых слов. Фраза же «все люди равны», не отступая от правил грамматики, содержала бы очевидную бессмыслицу, вроде — «все люди рыжеволосы», так как указывала бы, вследствие утраты словом «равенство» переносного значения, что все люди обладают одинаковым ростом, весом и физической силой.

Самая же главная особенность этого жаргона, получившего название «newspeak («новосказ»), состоит в том, что пользование им все больше и больше отрывается от мыслительного процесса. Полного успеха к 1984 году еще достигнуть не удалось, так как наряду с «новосказом» продолжает существовать старый язык, который партия временно терпит в качестве пережитка прошлого, но в идеале предполагается, что со временем ораторы смогут произносить целые идеологически выдержанные речи просто при помощи глотки, не привлекая к участию в работе высшие мозговые центры. Для такого рода ораторского искусства в «новосказе» существует даже специальное слово — «уткоречь», что значит: говорить легко и без раздумья, как крякает утка. Подобно многим другим словам «новосказа» оно означает похвалу, если применяется по отношению к своим, и осуждение, если относится к противнику, так как в этом жаргоне слова могут менять значение на диаметрально противоположное в зависимости от того, говорится ли о явлениях угодных или неугодных партии.

Во всем этом нетрудно заметить весьма современные черты. Пристрастие к аббревиатурам типа «Гестапо», «Коминтерн», «Агитпроп» и т. п., мимоходом указывает Орвелл, было заметно у тоталитарных режимов уже в первые десятилетия XX века. Такие сокращения служили не только целям экономии. Одновременно они помогали разорвать связи, существующие между словами. «Коммунистический Интернационал», например,

заставлял хотя бы на мгновение вспомнить о других «Интернационалах» и вообще об истории рабочего движения, тогда как «Коминтерн» просто указывал на тесно спаянную группу и определенную доктрину. В официальном советском языке нашего времени можно найти и другие характерные особенности «новосказа». По признанию самой советской печати (см., например, статью К. Чуковского «Сыпь» в газете «Известия» от 26 ноября 1960 г.), большевистские агитаторы часто говорят безличным, казенным языком, не давая себе труда осмыслить значение тех слов и выражений, которые они употребляют. «Необходимо ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры» — чем этот пример, взятый из статьи Чуковского, отличается от типичной «уткоречи». Правда, такой жаргон, «за которым, как за всяким шаблоном, скрывается полная импотенция мысли», по мнению Чуковского, «лишь сыпь на могучем русском языке», но ведь сыпь никогда не появляется сама по себе, она свидетельствует о какой-то скрытой болезни. Болезнь эта — постепенное омертвение языка и живой человеческой мысли в когтях тоталитарной диктатуры, о чем предупреждает Орвелл.

Я умышленно столь подробно остановился на орвелловских экскурсах в область языка, хотя в его романе они занимают значительное, но все же второстепенное место, чтобы показать, насколько тесно и органически переплетаются с настоящим его даже самые смелые, доведенные почти до гротеска предвидения будущего. Еще нагляднее эта связь видна в других типичных чертах антиутопии Орвелла. Замятинскому «Благодетелю», как владыке «Единого Государства», у него соответствует «Big Brother» («Старший Брат»), диктатор, олицетворяющий правящую партийную олигархию. Образ этого «черноусого» диктатора, несомненно списанного со Сталина, несмотря на свои полумифические и просто мифические свойства, гораздо реальнее и ближе к знакомой нам действительности, чем расплывчатая фигура «Благодетеля». Если последний совершает машин-

ные казни на глазах у завороженных ужасом и восторгом народных толп, то «Старший Брат», постоянно наблюдающий за всеми, известен народу по изображениям на экранах телевизоров, по бесчисленным портретам и статуям, разбросанным по всей стране. Ему официально приписываются

«...все успехи, все достижения, все победы и все научные открытия; все знание, мудрость, счастье и все человеческие добродетели исходят только от него и вдохновляются его руководством». (Стр. 171)*).

Как это похоже на другого, вполне реального диктатора, известного под титулом «Отца народов», о котором современный советский поэт А. Твардовский писал в своей поэме «За далью даль»:

«И было попросту привычно,
Что он сквозь трубочный дымок
Все в мире видел самолично
И всем заведовал, как бог;
Что простирались эти руки
До всех на свете главных дел —
Всех производств, любой науки,
Морских глубин и звездных тел;
Им всех свершений счет несметный
Был предуказан — что к чему;
И даже славою посмертной
Герой обязан был ему...»

Казнями же, как и Сталину, «Старшему Брату» нет нужды заниматься непосредственно. Для этой цели у него существует «Министерство Любви». В названии этого учреждения, как и «Министерства Правды», где служит герой «1984», Уинстон Смит, отражена еще одна харак-

---

*) Цитируется по изданию — «1984» by George Orwell. A Signet Book. Published by The New American Library, 1959. Перевод мой. — В. В.

терная черта страшной антиутопии Орвелла: стремление тоталитарной диктатуры прикрыть свои злые дела лживыми и наглыми эвфемизмами. Если главными занятиями «Министерства Любви» являются пытки, казни, всепроникающий шпионаж и террор, то «Министерство Правды» предназначено снабжать население, лишенное всех иных источников информации, выгодной для партии ложью. В этом министерстве не удовлетворяются искажением текущих событий и сочинением всяких небылиц о победах на военных фронтах; там постоянно переписывают историю в соответствии с партийными заданиями, так как партия хочет господствовать и над прошлым. Есть еще «Министерство Мира», занимающееся ведением бесконечной войны, и «Министерство Изобилия», которое выдает продовольственные и иные карточки полуголодным и вечно страдающим от всевозможных недостатков жителям «Океании», а также публикует фантастические цифры, свидетельствующие о неизменном перевыполнении экономических планов и «неуклонном подъеме материального благосостояния» в стране.

Вряд ли нужно подчеркивать, насколько такая картина будущего мира стоит ближе к печальным реальностям настоящего, чем «Единое Государство» Замятина. Если обитатели «Единого Государства» летают по своим делам на «аэро» и все в один час бреются электрическими бритвами, то граждане «Океании» не всегда могут подняться даже на лифте, так как лифты редко работают со времен Великой Революции, а за лезвиями для безопасных бритв они должны противозаконно отправляться на «вольный рынок». Тех и других беспощадно уничтожают за малейшее свободомыслие, но первые подвергаются казни в торжественной обстановке, под музыку труб «Музыкального Завода», а вторые бесследно исчезают, «превращаются в пар» в подвалах «Министерства Любви» или погибают в «Лагерях радости», т. е. «исправительно-трудовых лагерях», употребляя другой, современный эвфемизм. У Замятина государственная идеология, обязательная для всех, запрещает чувство

сострадания; у Орвелла партийные власти под страхом сурового наказания требуют от людей бешеной ненависти к «врагам».

Даже само Единое Государство превращается у Орвелла в три исполинских мировых державы, которые беспрерывно воюют между собой, хотя и похожи, как близнецы, друг на друга по своей социальной структуре. В этом также больше исторической реальности, чем у Замятина, так как нет никакого основания предполагать, что коммунизм, восторжествовав в мировом масштабе, не распался бы на отдельные враждующие блоки. Взаимоотношения между Советским Союзом и Китаем, путь Югославии и положение в других коммунистических странах служат наглядным свидетельством этого.

Несомненно утопичным остается в антиутопии Замятина и бесклассовое общество будущего, представляющее собой равенство всех в бесправии и потере индивидуальности. Значительно правдоподобнее выглядит трехчленная социальная структура, как ее представляет Орвелл, с верхушкой в виде «внутренней партии», средним слоем, состоящим из «внешней партии», т. е. ее рядовых членов, и малокультурными беспартийными «пролетариями» в качестве подножья всей пирамиды. Со свойственной его авторской манере «документальностью», Орвелл объясняет смысл и происхождение такой общественной структуры, ссылаясь на трактат некоего Эммануэля Гольдштейна, бывшего основателя партии, а теперь ее главного, но по существу мифического врага. Этот Гольдштейн, в котором нетрудно узнать образ Троцкого, пишет:

«...Партия давно поняла, что коллективизм является единственной надежной основой для сохранения ее положения как властвующей олигархии. Богатства и привилегии легче всего защищать, когда ими владеют сообща. Так называемая «отмена частной собственности», происшедшая после революции, в действительности означала концентрацию собственности в руках несравненно меньшего количества людей, чем прежде. Разница за-

ключалась только в том, что новые собственники представляли собой единую группу вместо множества отдельных лиц. Сам по себе каждый член Партии не владеет ничем, кроме необходимых личных вещей; коллективно же Партия владеет всем в Океании, так как всем распоряжается и распределяет продукты производства по своему усмотрению. В годы, последовавшие за революцией, Партии удалось достигнуть такого положения легко и без особого сопротивления, потому что весь процесс был представлен народу, как акт обобществления собственности» («1984», стр. 170).

В этом блестящем анализе Орвелл предвосхитил книгу Милована Джиласа «Новый класс», описавшего общественную структуру в коммунистических странах, опираясь на свой личный богатый опыт в « строительстве социализма». В такой научности, взятой на этот раз без всяких кавычек, и заключается главное отличие антиутопии Орвелла от антиутопического произведения Замятина, которое, несомненно, послужило Орвеллу образцом. Во внешней канве обоих романов — «Мы» и «1984», — есть много сходства. И там, и там главным героем повествования является человек, принимающий активное и нужное участие в работе государственной машины тоталитарного строя будущего, хотя и с разной степенью энтузиазма. Оба они ведут записи, в которых, по существу, стараются найти самих себя в условиях этого строя. В обоих случаях на активное сопротивление режиму толкают их мятежные женщины и любовь к этим женщинам, запретная по законам нового общества, которое не терпит искренних человеческих чувств. Оба романа заканчиваются торжеством бездушной машины тоталитарного государства и ее победой над живым человеком: герои принуждены поклониться государственному Молоху, растлить себя и предать самое дорогое, что у них есть в жизни — своих возлюбленных. Однако различие тут существеннее, чем сходство.

Как Замятин, так и Орвелл борются художественными средствами против реального зла, угрожающего

человечеству, — грядущего тоталитарного социализма. Но Замятин направляет острие своей гневной сатиры против идеала этого зла; широкими, импрессионистическими мазками рисует он картину того, что произойдет, если этот отвратительный «идеал» осуществится. На его картину надо смотреть с некоторого расстояния, не всматриваясь в детали: при всей своей правдивости она не имеет отчетливых контуров, как не может их иметь и сам идеал. Орвелл, напротив, изображает отнюдь не идеал, а реальную жизнь людей в том случае, если тоталитарный социализм, т. е. нынешний коммунизм, одержит верх во всем мире. Не переставая быть художником, Орвелл подходит к своему будущему обществу с пунктуальной добросовестностью натуралиста. Чтобы не упустить мелких штрихов, его рисунок полезно рассматривать в лупу.

Новую струю в старом жанре «аипоту» можно обвинить в тенденциозности. Сам Орвелл в статье «Почему я пишу» (1947 г.) признается, что не может обойтись без «политической цели», понимая ее как «стремление подтолкнуть мир в определенном направлении и изменить представление людей о том общественном порядке, к которому следует стремиться». Однако тенденциозность вредит литературным достоинствам произведения только тогда, когда она не идет от сердца писателя, когда она фальшива, куплена деньгами или силой навязана извне. Иначе пришлось бы забраковать большую часть мировой литературы и, пожалуй, почти всю русскую литературу, начиная со «Слова о полку Игореве», где красной нитью проходит горячий призыв к действию. Таким же огненным призывом к немедленной борьбе со злом звучат и прекрасные книги новых антиутопистов Замятина и Орвелла.

Владимир Бондаренко

СОДЕРЖАНИЕ

В МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ

ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

ПРОДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Принятые сокращения:

МЛС — Международное Литературное Содружество (Inter-Language Literary Associates). Нью-Йорк.

РК — издательство «Русская Книга», Вашингтон.

ТЗП — издательство Товарищества Зарубежных Писателей, Мюнхен.

УМСА — издательство Союза Христианских Молодых Людей, Париж.

ИР — издательство И. Г. Раузена, Нью-Йорк.

ИВК — издательство В. П. Камкина, Вашингтон.

Цены показаны в долларах

АВТОРХАНОВ А. *Технология власти.* 1959, 418 стр. Цена 2.00.

АЛЕКСЕЕВА Лидия. *В пути.* Стихи. Изд. 2-е, 1962, 60 стр. Цена 1.00.

АЛЕКСЕЕВА Лидия. *Прозрачный след.* Стихи. 1964, 60 стр. Цена 1.00.

АНДРЕЕВ Г. *Трудные дороги.* Повесть. ТЗП, 1959, 156 стр. Цена 1.75.

АННЕНКОВ Юрий. *Дневник моих встреч.* Цикл трагедий. В 2-х тт. С портретами работы автора. Обложка и переплет работы С. Голлербаха. МЛС, 1966:

Том 1-й: Горький, Блок, Гумилев, Ахматова, Хлебников, Есенин, Маяковский, Ремизов, С. Прокофьев, Замятин, Пильняк, Бабель, Зощенко, Репин, Г. Иванов. Вступит. статьи издательства и В. Жоржа. 33 портрета, 346 стр.

Том 2-й: Мейерхольд, Евреинов, Пастернак, Пудовкин, Малевич, Татлин, Н. Гончарова, Ларионов, С Маковский, А. Бенуа, А. Толстой, Ленин, Троцкий. 33 портрета. Вступит. статьи А. Раннита и Е. Замятина. 337 стр.

Цена каждого тома 4.75, в коленкор. переплете — 5.75.

АРЖАК Н. *Искупление.* Рассказ. МЛС, 1964, 71 стр. Цена 1.00.

АРЖАК Н. *Говорит Москва.* Повести и рассказы: Говорит Москва. — Руки. — Человек из МИНАП'а. — Искупление. Вступит. статья и послесловие Б. Филиппова. Обложка Н. Сафонова. Портрет автора. 167 стр. МЛС., 1966. Цена 2.25.

АРОН. Р. *Опиум для интеллигенции.* 1960, 236 стр. Цена 2.00.

АРОНСОН *Россия накануне революции.* ИР, 1966, 280 стр. Цена 3.00.

АХМАТОВА Анна *Сочинения.* Том 1-й. Редакция, вступ. статьи и примечания Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. С портретами, факсимиле автора. Обложка и переплет С. Голлербаха. МЛС, 1965. 464 стр. Цена 4.50, в холщевом переплете — 5.75.

БАБЕЛЬ И. *Конармия.* Фотокопия изд. ГИЗ, 1928, 176 стр. Цена 2.00.

БАШКИРЦЕВ И. *Жизнь измятая.* Роман. Часть 1-я. 1963, 168 стр. Цена 2.00.

БЕРДЯЕВ. Н. *Истоки и смысл русского коммунизма.* УМСА, 1955, 157 стр. Цена 1.50.

БРОДСКИЙ Иосиф. *Стихотворения и поэмы.* Редакция и вступит. статья Г. Стукова. МЛС, 1965, 239 стр. Цена 2.25.

БУЛГАКОВ М. *Иван Васильевич. — Мертвые души.* Пьесы ТЗП, 1964, 145 стр. Цена 2.50.

БУШМАН Ирина. *Поэтическое искусство Мандельштама.* 1964, 75 стр., с портретом Мандельштама. Цена 0.75.

Воздушные Пути. Альманахи. Ред.-изд. Р. Н. Гринберг, Нью-Йорк. В альманахах произведения А. Адамовича, А. Ахматовой, И. Бабеля, И. Бродского, В. Вейдле, Г. Кузнецовой, А. Лурье, О. Мандельштама, Ю. Марголина, В. Маркова, В. Набокова, Б. Пастернака, Л. Ржевского, А. Седых, Е. Тагер, Н. Ульянова, Б. Филиппова, В. Ходасевича, М. Чехова, Л. Шестова и др. Портреты Ахматовой, Бабеля, Мандельштама, Шаляпина и др.

Альманах 2-й, 1961, 269 стр. Цена 3.50.
Альманах 3-й, 1963, 302 стр. Цена 4.00.
Альманах 4-й, 1965, 302 стр. Цена 4.75.

ГУМИЛЕВ Н. *Собрание сочинений* в 4-х томах. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. С портретами автора, факсимиле и т. д. ИВК.

Том 1-й. Стихи. Вступ. статья Г. П. Струве. 1962, 2+56+349 стр. Цена 5.00.

Том 2-й. Стихи. Поэмы. Вступит. статья Г. П. Струве. 1964, 2+40+378 стр. Цена 5.00.

Том 3-й. Стихи. Драматич. произведения. Вступ. статья В. М. Сечкарева. 1966, 2+37+360 стр. Цена 5.00.

ГУМЕЦКАЯ А. *Маяковский и его неологизмы.* ИР, 1964, 288 стр. Цена 4.75.

ГУНДУЛИЧ И. *Слезы блудного сына.* Перевод Л. Алексеевой. Ред., вступ. статья и комментарии Р. В. Плетнева. МЛС, 1965, 81 стр. Цена 1.25.

ДАРОВ А. *Блокада.* Роман. ИР, 1965, 336 стр., с портретом автора. Цена 4.50.

ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М. *У Тихона.* Пропущенная глава из романа «Бесы». Ред. Е. Жиглевич. Вступ. статья А. Козина. МЛС, 1964, 141 стр. Цена 2.00.

ДУДИНЦЕВ В. *Не хлебом единым.* Роман. 1957, 196 стр. Цена 2.00.

ЕМЕЛЬЯНОВ В. *Свидание Джима.* Повесть. Изд. 2-е, 1964, 118 стр., с портретом автора. Цена 2.00.

ЗАБОЛОЦКИЙ Н. *Стихотворения.* Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вступ. статьи А. Раннита, Б. Филиппова и Э. Райса. МЛС, 1965, 71+368 стр., с портретами автора. Обложка и переплет Е. Жиглевич. Цена 4.75, в коленкор. переплете — 5.00.

ЗАЙЦЕВ Борис. *Москва.* Воспоминания. Мюнхен, 1960, 162 стр. Цена 2.00.

ЗАЙЦЕВ Борис *Тихие зори.* Рассказы, Мюнхен, 1961, 148 стр. Цена 2.00.

ЗАЙЦЕВ Б. *Далекое.* МЛС, 1965, 203 стр., с портретом автора (работы С. Иванова). Цена 3.00.

ЗАМЯТИН Евг. *Повести и рассказы.* Вступ. статья М. Слонима. 1963, 320 стр. С портретом автора работы Б. Кустодиева. Цена 3.00.

КАНДИНСКИЙ Василий. *О духовном в искусстве.* Предисловие Н. Кандинской. Перевод А. Лисовского, пересмотренный Н. Кандинской и Е. Жиглевич. Гравюры и репродукции картин В. Кандинского. Редакция Е. Жиглевич. МЛС, 1967, 151 стр. Цена — 3.50, в матерчатам переплете — 4.50.

КЛЕНОВСКИЙ Дм. *Разрозненная тайна.* Стихи. 1965, 56 страниц. Цена 1.00.

КЛЕНОВСКИ Дм. *Стихи.* Избранное из шести книг и новые стихи (1965-1966). (С портретом автора), МЛС, 1967, 218 стр. Цена 3.50.

ЛЕОНГАРД В. *Революция отвергает своих детей.* 1960, 578 стр., Цена 3.50.

Литературное Зарубежье. Сборник (Г. Андреев, О. Анстей, Ю. Большухин, И. Елагин, Ю. Елагин, Д. Кленовский, М. Коряков, С. Максимов, Н. Моршен, Н. Нароков, Л. Ржевский, Б. Филиппов и др.). 1958, 365 стр. Цена 2.00.

МАКОВСКИЙ С. *На Парнасе серебряного века.* Воспоминания. 1961, 370 стр., с портретами. Цена 3.00.

МАНДЕЛЬШТАМ Осип. *Собрание сочинений.* Редакция, свод вариантов и комментарии Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. С портретами автора. Первый портрет и рисунок переплета и обложки С. Голлербаха. МЛС.

Том 1-й: Стихотворения. Вступительные статьи К. Брауна, Г. Струве и Э. Райса. 1964, 4+105+577 стр. Цена 5.50, в переплете — 6.25.

Том 2-й: Стихотворения. — Проза. Вступительн. статья Б. Филиппова. 1966, 4+18+637 стр. Цена 5.75, в переплете — 6.25.

Мосты. Альманахи. Мюнхен. №№11 и 12 ТЗП: в альманахах произведения Г. Адамовича, Л. Алексеевой, Г. Андреева, Ю. Анненкова, О. Анстей, Аргуса, Н. Арсеньева, А. Бахраха, Н. Берберовой, Н. Бердяева, Ю. Большухина, В. Бондаренко, о. Сергия Булгакова, И. Буркина, И. Бушман, И. Бунина, В. Варшавского, В. Вейдле, Г. Газданова, З. Гиппиус, О. Гэксли, М. Джиласа, И. Елагина, Г. Ермолаева. А. Есенина-Вольпина, В. Жабинского, Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина, Л. Зандера, В. Зубова, Вяч. Иванова, Ю. Иваска, О. Ильинского, А. Камю, Д. Кленовского, В. Корвина-Пиотровского, М. Корякова, Г. Кругового, В. Крымова, А. Кторовой, Г. Кузнецовой, С. Левицкого, Н. Лосского, В. Маклакова, С. Маковского, О. Мандельштама, Т. Манна, В. Маркова, Д. Мережковского, Е. Модестова, О. Можайской, Н. Нарокова, А. Неймирока, Ю. Одарченко, И. Одоевцевой, Д. Орвелла, Б. Пастернака, С. Ж. Перса, Г. Петрова, Н. Полторацкого, К. Померанцева, С. Прегель, А. Присмановой, Г. Раевского, А. Ремизова, Л. Ржевского, Л. Сабанеева, А. Седых, В. Смоленского, Ф. Степуна,, Странника, Г. Струве, Е. Таубер, Ю. Терапиано, А. Терца, А. Тойнби, А. Трофимова, Б. Филиппова, В. Фолкнера, В. Франка, С. Франка, Э. Хемингуэя, В. Ходасевича, Мар. Цветаевой, Д. Чижевского. И. Чиннова, Л. Шестова, И. Шмелева, И. Эренбурга, В. Юрасова, Е. Юрьевского, В. Яновского и др. Портреты, репродукции картин и рисунков.

№ 1, 1958, 430 стр. Цена 2.00.
№ 2, 1959, 462 стр. Цена 2.00.
№ 3, 1959, 433 стр. Цена 2.00.
№ 4, 1960, 330 стр. Цена 2.00.
№ 5, 1960, 346 стр. Цена 2.00.
№ 6, 1961, 382 стр. Цена 2.00.
№ 7, 1961, 398 стр. Цена 2.00.
№ 8, 1961, 350 стр. Цена 2.00.
№ 9, 1962, 387 стр. Цена 3.00.
№ 10, 1963, 426 стр. Цена 4.00.
№ 11, 1965, 404 стр. Цена 4.00.
№ 12, 1966, 408 стр. Цена 4.00.

НАРЦИССОВ Б. *Память.* Стихи. РК, 1965, 47 стр. Цена 1.00.

ОКУДЖАВА Булат. *Будь здоров школяр.* Стихи (опубликованные и неопубликованные). С портретом автора работы Я. Трушкевича. Вступ. статья Н. Тарасовой. Изд. «Посев», 1964, 204 стр. Цена 2.50.

ОРВЕЛЛ Дж. *Скотский хутор.* Пер. М. Кригер и Г. Струве, Изд. «Посев», 1967, 112 стр. Цена 2.00.

ОРВЕЛЛ Дж. *1984.* Перевод с англ. Изд. «Посев» 1957, 298 стр. Цена 1.25.

ПАСТЕРНАК Борис. *Сочинения.* Тома 1-3 под ред. Г. Струве и Б. Филиппова. Вступ. статьи к 1-3 тт. В. Вейдле; к 1-му тому Ж. де Пруаяр. Изд. Мичиганского университета, Анн-Арбор.

Том 1-й: Стихи и поэмы 1912-1932, 1961, 2+44+504 стр. Цена 8. 50.

Том 2-й: Проза 1915-1958. 1961, 2+14+363 стр. Цена 8.50.

Том 3-й: Стихи 1936-1959; стихи 1912-1957, не собранн. в книги автора. Статьи. 1961, 2+16+330 стр. Цена 8.50.

Том 4-й: Доктор Живаго. Роман. 1959, 4+567 стр. Цена 6.50.

ПОЛТОРАЦКАЯ М. *Русский фольклор.* ИР, 1964, 304 стр. Цена 4.75, в переплете — 6.25.

РАЙС Эммануил. *Под глухими небесами.* Из дневников 1938-1941. МЛС, 1967. Обложка Г. Петрова, 104 стр. Цена 2.00.

РЖЕВСКИЙ Л. *Двое на камне.* Повести и рассказы. ТЗП, 1960, 131 стр. Цена 1.75.

РЖЕВСКИЙ Л. *Через пролив.* Повести и рассказы. ТЗП, 1966, 151 стр.

Сборник статей, посвященных творчеству Б. Л. Пастернака (Б. Пастернак, Б. Зайцев, Ф. Степун, Д. Оболенский, Л. Ржевский, И. Бушман, Г. Струве, В. Франк и др.). 1962, 253 стр, с портретом Б. Пастернака. Цена 2.50.

СЕВЕРЯНИН Игорь. *Собрание поэз.* Том 1-й. *Громокипящий кубок.* Изд. В. Пашуканиса. 1915. Фотоизд. ИВК, 1966, с портретом автора, 203 стр. Цена 2.50.

Синявский и Даниэль на скамье подсудимых. Процесс. Последние слова Синявского-Терца и Даниэля-Аржака. Со вступит. статьями Е. Замойской и Б. Филиппова. МЛС, 1966, стр., с портретами. Цена 1.50.

Советская потаенная муза. Антология. Ред. и предисл. Б. Филиппова (Ф. Сологуб, М. Цветаева, В. Кривич, А. Николев, А. Котлин, А. Есенин-Вольпин и др.). Изд. И. Башкирцева, Мюнхен 1961, 159 стр. Цена 1.50.

Содружество. Из современной поэзии русского зарубежья. Составила Татьяна Фесенко (75 поэтов русского зарубежья). ИВК, 1966, 562 стр. Цена 6.00, в переплете — 7.00.

СОЛОГУБ Федор. *Одна любовь.* Стихи. Фотокопия изд. «Алконост», 1921. ИВК, 1962, 53 стр. Цена 1.00.

СТАВАР А. *Избранные статьи о марксизме.* Перевод В. Петрова. Вступ. статья Г. Петрова. 1964, 309 стр. Цена 1.75.

СТЕПУН Ф. *Встречи.* ТЗП, 1962, 206 стр. Цена 3.00.

СТРУВЕ Глеб. *Утлое жилье.* Стихи. МЛС, 1965, 124 стр. С портретом автора. Цена 1.50.

ТЕРАПИАНО Юрий. *Избранные стихи.* ИВК, 1963, 112 стр. Цена 1.50.

ТЕРАПИАНО Юрий. *Паруса.* Стихи. РК, 1965, 38 стр. Цена 1.00.

ТЕРЦ Абрам. *Любимов.* Повесть. 1964, 163 стр. Цена 1.50.

ТЕРЦ Абрам. *Мысли врасплох.* Вступ. статья А. Филда. Обложка Н. Сафонова. Портрет автора, ИР, 1966, 147 стр. Цена 2.00.

ТЕРЦ Абрам. *Фантастический мир Абрама Терца.* — Фантастические повести. Суд идет. Любимов. Что такое социалисти-

ческий реализм. Вступит. статья Б. Филиппова. Обложка и суперобложка Н. Сафонова. С портретом автора. МЛС, 1967, 447 стр. Цена 3.80.

ФЕСЕНКО Татьяна. *Повесть кривых лет.* 1963, 224 стр. Цена 4.00.

ФИЛИППОВ Борис. *Сквозь тучи.* Повесть в 4-х рассказах. 1960, 191 стр. Цена 2.00.

ФИЛИППОВ Борис. *Пыльное солнце.* Рассказы. 1961, 47 стр. Цена 0.85.

ФИЛИППОВ Борис. *Музыкальная шкатулка.* Повесть и рассказы. 1963, 100 стр. Цена 1.25.

ФИЛИППОВ Борис. *Тусклое оконце.* Рассказы. Стихи. Очерки. Обложка Николая Сафонова. РК, 1967, 87 стр. Цена 1.80.

ФОРШ Ольга. *Сумасшедший корабль.* Повесть. МЛС, 1964, 256 стр. Цена 3.00.

ФРАНК С. Л. *Из истории русской философской мысли конца 19-го и начала 20-го века.* Антология. Под ред. В. С. Франка. Обложка и переплет С. Голлербаха. МЛС, 1965, 286 стр. Цена 4.00, в коленк. переплете — 4.75.

ФРАНК С. Л. *Душа человека.* Опыт введения в философскую психологию. Изд. 2-е УМСА, 1964, 328 стр. Цена 4.00.

ШМЕЛЕВ И. *Солдаты.* Роман. 1962, 273 стр. Цена 4.00.

ШМЕЛЕВ И. *Иностранец.* Роман. 1963, 93 стр. Цена 2.00.

ЭРХАРД Людвиг. *Благосостояние для всех.* Экономика послевоенной Германии. Изд. «Кондор», Карлсруэ, 1961, 332 стр. Цена 2.50.